

БОРИС НИКОЛАЕВИЧ
ШИРЯЕВ

НЕУГАСИМАЯ ЛАМПАДА



КЛАССИКА РУССКОЙ
ДУХОВНОЙ ПРОЗЫ

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ

Борис Николаевич Ширяев
Неугасимая лампада
Серия «Классика русской духовной прозы»

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=146509
Неугасимая лампада/ Ширяев Б. Н.: «Сретенский монастырь»; Москва; 2015
ISBN 978-5-91761-336-9

Аннотация

Повесть «Неугасимая лампада» – самое значительное произведение Бориса Николаевича Ширяева, русского писателя второй волны эмиграции. Оказавшись в Соловецком лагере в 1920-х годах, Б. Ширяев описал тяжелую жизнь его узников, полную страданий, лишений, но вместе с тем и неугасимого света надежды. Соединив рассказы о судьбах людей, соловецкие легенды и лагерный фольклор, автор создал образ «потаенной» Руси, которая от новой власти большевиков ушла «в глубину», подобно древнему Китежу. Обретя на Соловках спасительную веру, писатель сохранил ее навсегда и посвятил ей главную книгу своей жизни.

Содержание

Предисловие	4
Часть первая	5
Глава 1	5
Глава 2	10
Глава 3	14
Глава 4	19
Часть вторая	21
Глава 5	21
Глава 6	25
Глава 7	27
Глава 8	32
Глава 9	40
Глава 10	43
Глава 11	48
Конец ознакомительного фрагмента.	49

Борис Николаевич Ширяев

Неугасимая лампада

Повесть

Посвящаю светлой памяти художника Михаила Васильевича Нестерова, сказавшего мне в день получения приговора: «Не бойтесь Соловков. Там Христос близко».

Предисловие

Борис Николаевич Ширяев родился в Москве в 1887 году (по другим данным – в 1889 году) в семье крупного помещика. Будущий писатель окончил Московский университет (историко-филологический факультет) и Императорскую военную академию. Во время Первой мировой войны ушел на фронт и дослужился до звания штабс-капитана.

В 1918 году при попытке присоединиться к Добровольческой армии Ширяев был арестован большевиками и приговорен к расстрелу. Ему удалось бежать, но в 1922 году последовал новый арест. На этот раз приговор заменили десятью годами ссылки в Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН). Здесь Борис Ширяев провел семь лет, выполняя тяжелые каторжные работы, а также участвуя в деятельности лагерного театра и в издании журнала «Соловецкие острова». Этот период жизни он описал в повести «Неугасимая лампада». Вы увидите в ней не только ужасы лагерной жизни, но и людей, которым удалось остаться собой в невыносимых условиях каторги, и даже вырасти духовно, стать лучше, сильнее, обрести свою веру. В этой книге много контрастов, но нет разделения на «черное» и «белое», точнее эти цвета меняются, как и души людей, и даже в полной тьме появляется свет.

Символом надежды на спасение для автора стала лампада, теплящаяся в землянке последнего схимника Соловков, который остался жить в лесу за стенами монастыря, день и ночь непрестанно творя молитву.

Борис Ширяев покинул Соловки в 1929 году. Во время Великой Отечественной войны, живя в Ставрополе, он оказался в немецкой оккупации, а при наступлении советских войск – уехал из России. В 1945 году поселился в Италии, где писал прозу и литературоведческие статьи, сотрудничал с русскими журналами. В Буэнос-Айресе вышли книги Ширяева «Ди-Пи в Италии», «Я человек русский», «Светильники Русской Земли» и др.

Однако главной книгой жизни писателя была «Неугасимая лампада»: начав работу над ней в середине 1920-х годов, он закончил ее в эмиграции на острове Капри в 1950 году, за девять лет до своей смерти.

Оксана Шевченко

Часть первая В сплетении веков

Глава 1 Святые ушкуйники

Над гребными колесами привезшего нас на Соловки парохода алела полукругами ясно заметная издалека надпись «Глеб Бокий»; но плоха ли была краска или маляру не хватило олифы, – присмотревшись, вблизи можно было прочесть другую, скрытую под ней, крепко, глубоко всосавшуюся в оструганные еще на монастырской верфи доски – «Святой Савватий».

Есть годы, скручивающие тугим, неразрывным узлом столкнувшиеся во времени века, сплетающие в причудливый до невероятия узор прошлое с будущим, уходящее с наступающим. В них то сходятся, то расходятся, обрываются и снова возникают нити человеческих жизней, разворачивается ткань сомкнутых поколений, но, лишь отойдя на грань положенного срока, можно разобраться в загадочных извивах их узоров. Такими я вижу теперь Соловки первой половины двадцатых годов, последний монастырь – первый концлагерь, в котором прошлое еще не успело уйти и раствориться во времени, а предстоящее слепо, но упорно прощупывало, пробивало свой путь в жизнь, в бытие.

Соловки – дивный остров молитвенного созерцания, слияния духа временного, человеческого с Духом вечным, Господним.

Темная опушь пятисотлетних елей наползает на бледную голубизну студеного моря. Между ними лишь тонкая белая лента едва заметного прибоя. Тишь. Покой. Штормы редки на Полуночном море. Тишина царит и в глуби зеленых дебрей, где лишь строгие черницы-ели перешептываются с трепетно-нежными – таких нежных нигде, кроме Соловков, нет – невестами-березками. Шелковистые мхи и густые папоротники кутают их застуженные долгой зимой корни. А грибов-то, грибов! Каких только нет! Кряжистые, похрустывающие грузди, подосинники – щеголи красноголовые, боровики – купцы московские, тугие – не уколупнешь, робкие белянки, укрывшиеся под палой, пахнущей сладимой прелью листвою, стыдливые, как невесты на выданье, а к осени – ватаги резвых, озорных опенок лезут, толкаясь, на пни и валежник...

Остров невелик, длиной 22 версты, шириной 12, а озер на нем 365, – сколько дней в году. Чистые, ясные, студены, битком набиты они стаями шустрых, игорливых ершей. Донья – каменистые; круглые, обточенные веками булыжники пригнаны плотно друг к другу, словно на московской мостовой. В полдень видно все, что творится на дне, каждый камешек, каждую рыбешку...

Дебря Соловецкая мирная. Святитель Зосима вечный пост на нее наложил: убоины всем тварям лесным не вкушать, а волкам, что не могут без горячей крови живыми быть, путь с острова указал по своему новгородскому обычаю. Волки послушались слова святителя, поседали весной на пловучие льдины и уплыли к дальнему Кемскому берегу. Выли, прощаясь с родным привольем. Но заклатья на них святитель не наложил.

– И вы, волки, твари Божие, во грехе рожденные, во грехе живущие. Идите туда, на греховную матерую землю¹, там живите, а здесь – место свято! Его покиньте!

¹ Матерая земля – здесь: материк.

С тех пор лишь робкие, кроткие олени да пугливые беляки-зайцы живут на святом острове, где за четыре века не было пролито ни капли не только человеческой, но и скотской горячей крови.

Множество древних сказов записано узорной вязью древнего полуустава² на пожелтевших листах соловецких летописей, разметанных налетевшей на Святой остров непогодью и снова собранных по темным подклетьям³ пришедшими в монастырь новыми трудниками.

Множество чудесных былей рассказывали и чернецы, оставшиеся на Соловках по skonчании монастыря. Много, уже забытое на Руси, они еще помнили. Недаром чутко слушавший народную молвь поэт писал:

Господу Богу помолимся,
Древнюю быль возвестим.
Так в Соловках нам рассказывал
Инок честной Питирим...⁴

* * *

Теперь иноки эти – рыбаки на службе у лагерного управления, а отец Софроний даже советский чин имеет: начальник рыбоконсервного завода. Один лишь он знает стародавнюю тайну засола редкостной соловецкой сельди. Другой такой в мире нет: жирная, нежная, во рту тает, не уступит ни белорыбице, ни осетровой тешке. В древние времена обоз такой сельди по первопутку из Кеми в Москву уходил – к самому царю. Жаловал Тишайший монастырскую рыбицу и вкушал ее на Филипповки, а к Великому посту она уже вкус свой теряла, черствела. Об этих обозах в «кладовых листах» не раз писано, а в «рухольных» – ответные царские дары мечены: златотканые ризы парчевые, золотые панагии и чаши, убранные самоцветами, заморского веницейского мастерства, шелковые платы, покровы и плащаницы, вышитые нежными перстами дочерей царских, Московских великих княжен.

Кое-что из этого и теперь осталось, стоит за стеклом в бывших палатах архимандрита – теперь антирелигиозном музее. Там же и раки с мощами святителей Зосима и Германа. Открыты у них лишь главы да персты нетленные, а Савватий закрыт – нетленен весь.

Соловецкие монахи – особенные. Других таких по всей Руси не было: не в молитве, а в труде спасались. Обычай этот древний, от самих святителей повелся, когда они первый храм Господен на Соловках воздвигали из валунов и палого бурелома. Храм тот был во славу святого Преображения Господня учрежден и стоял он на том самом месте, где теперь Преображенского собора алтарь. Только намного он теснее алтаря был. Более двенадцати чернецов в себя не вмещал.

Так в истинных древнего писания Житиях сказано.

Ладья же, на которой святители на остров прибыли, в ту же ночь волею Господней сама назад к матерому берегу уплыла и там на причал стала. Таково было дано знамение: святителям на острове оставаться и далее на Полночь не идти, новым же трудникам во имя Господне с Руси на той ладье прибывать и трудом души свои оберегать от бесовского мирского искушения и напастей.

Иеромонах Никон, что монастырским гончарным заводом раньше управлял, рассказывал, как он с подначальными трудниками и к службе Божией только раз в году поспевал, на

² Полуустав – одна из разновидностей письма в славянских рукописях, возникшая в XIII в.; проще и мельче устава.

³ Подклеть – нижний этаж храма, имеющий хозяйственное назначение.

⁴ Глава «О двух великих грешниках» из поэмы Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» в песенной обработке.

Светлое Христово Воскресение. Тропари же, ирмосы и псалмы пели каждодневно, глинку замешивая и печь растопляя.

– Телесное тружение – Господу служение, обители – слава и украшение, бесам же блудным – поношение, – поучали богомольцев чернецы и сами пример показывали.

От монахов и богомольцы тот обычай переняли: придет человек помолиться, отстоит молебен у мощей святителей-тружеников, да и останется на год сам потрудиться во славу Угодников Божиих. По обету многие трудились год, два и три, покаяния усердного и просветления духа ради. Ими, трудниками Земли Русской, возведены и неодолимая волной Мук-соломская дамба – стена на море, и нерушимые стены Соловецкого кремля, мало чем Московскому уступающие: длиною округ верста три четверти, толщею же превыше московских. Сложены они из непомерных валунов по указу благочестивого государя Феодора Иоанновича, радением Бориса Годунова, Правителя Царства, ближнего боярина и царского шурина.

Петр-император, посетивший Соловки, тоже здесь потрудился: выточил на голландском станке и сам вызолотил резную сень над архимандритовым местом в Преображенском соборе. Висит теперь и она в том же музее.

Обычай сильнее времен. Он ниже на себя годы, как нить – окатные бурмицкие зерна. Сменились века, рухнуло Московское царство, нет более и благоверных его царей, а идут к Святому острову трудники со всей Земли Русской, и нет им конца-краю.

Тугим узлом закручены безвременные годы, и в невиданном разноцветии сплелись в нем пестрые нити людских жизней.

Когда последний Соловецкий архимандрит уводил чернецов в Валаам в 1920 году, иные из них по древности лет или по усердию остались в обители и с ними – схимник-молчальник, в глухой дебре, в затворе спасавшийся. Проведала о том новая власть и раз, в весеннюю пору, подкатил на коне к схимниковой печуре-землянке сам начальник новый Ногтев со товарищи. Пил он сильно и тут хмельной был, сбил затвор и в печуру... бутылку водки в руке держит.

– Выпей со мной, распросвятой отец опиум! Попостился – пора и разговеться! Теперь, брат, свобода! Господа Бога твоего отменили декретом... – стакан наливает, старцу дает и матерится по-доброму.

Встал старец от своей лампады и молча земной поклон Ногтеву положил, как покойнику, а поднявшись, на открытый свой гроб указал: «помни, мол, там будешь».

Переменился Ногтев в лице, бутылку за дверь кинул, сел на коня и ускакал. Пил потом месяц без перестану, старцу же приказал паек выдавать и службу к нему из монахов назначил.

Сплелись две нити из двух веков и вновь разошлись по своим путям, указанным свыше. А немое речение старца сбылось: году не прошло, как нагрянула из Москвы комиссия, дознались, что Ногтев серебряных литых херувимов с иконостаса спекулянтам продал, и расстреляли его, раба Божьего.

Провидел смерть его старец. Дано ему было то, как святителю Зосиме, узревшему обезглавленными новгородских бояр на пиру у Марфы Борецкой, Посадницы.

Древнее житие святителя об этом так повествует: когда обитель уже обширную стала и притекли к ней многие люди со всея Руси, тогда земли Полуночные – Беломорские, Кемские, Пермские, Сорока, Кола и Печора, вплоть до самого Каменного пояса, под рукою Московского царя не были. Господин Великий Новгород ими владел; пенили его дерзкие ушкуи волны широких полуночных рек, собирали его вольные дружинники – ратники и ставленные на вече тиуны дань с темных, диких лесных людей: куны, лису чернобурую, соболя... Таким ратником-землепроходцем и святитель смолodu был, а после, когда воздвиг обитель, пошел он к светлому Ильмень-озеру, чтобы там на вече грамоты на новые земли испросить.

С великою честью приняли старца Новгородские бояре. Наслышан был Господин Великий Новгород о славе его подвига. Не только землями монастырь наделили – всем Кемским берегом, Колой и Сорокой, – но поставили и утвердили на вече: архимандриту его все народы тех стран под своею высокою рукою держать, суд им творить и собирать с них дань в обительскую казну. Встречать же того архимандрита в его волости превыше, как князя и посадника, но как владыку митрополита: во все колокола бить и путь ему от моря до палат алым сукном стлать.

В те годы всем Новгородом, пятнами его и концами посадница Марфа Борецкая правила и, провожая старца в далекий обратный путь, созвала она на пир всех бояр. На пиру том отверзлись очи святителя и узрел он грядущее; видит: сидят за столом бояре – все без голов...

Так и сбылось. Посек гордые головы грозный Московский царь, попалил огнем Новгородское торжище и подворья, но жалованную обители честь, земли, ловы и соляные варницы утвердил большой печатью Московского царства.

Закопали Ногтева в бору, на том самом месте, где в стародавние времена воевода Мещеринов схоронил мятежных иноков соловецких, петлею им удушенных. Тоже давно это было; в царствование Тишайшего, по приказу Никона-патриарха. Монастырь тогда новопечатных книг не принял. Мало того: старцы обители соборно обличительное послание патриарху написали.

Суров и непреклонен был Никон. Самому царю властью своею патриаршей указывал он путь. Тверд был и архимандрит-игумен: слово свое супротив патриаршего поставил, ересиархом нарек Никона и грамоты о том по всем северным обителям разослал.

Никон стрельцов от царя истребовал, отдал их под начал своего патриаршего боярина Мещеринова и двинул ратную силу на Святую обитель. Не устрасился ее игумен, затворил окованные железом ворота перед патриаршим воеводой и выкатил пушки на кремлевские стены.

Снова воспрянула супротив Москвы вольности Новгородской гордыня, и многие годы стоял под стенами Соловецкого кремля воевода Московского патриарха, «собинного» друга царя... Землянки, в которых жили патриаршие стрельцы, видны и теперь за монастырским кладбищем, на самой опушке бора. От них лишь ямки остались.

Устояла бы и дале твердыня древнего благочестия, но не судил того Господь. Некий чернец, имя его в Житиях не указано, переметнулся к Мещеринову и указал ему тайный ход, под стеною кремля к озеру Святому прорытый. По тому ходу в кремль вода под землею шла.

Темною ночью, потаенно вошли тем ходом в обитель патриаршие стрельцы, схватили архимандрита в его келье и, часу не теряя, на то же утро увезли в железах к патриарху.

Крови, однако, пролить на Святом острове и Мещеринов не посмел: петлею наиболее упорных старцев передушил. Иноки, оставленные в живых, истинный честной крест на могиле умученных поставили, и горели небесным огнем невидимые свечи округ того креста в ночь на Светлое Христово Воскресение. Засветится ли такая свеча на могиле Ногтева – неведомо.

* * *

Соловецкая обитель зачалась в буйные времена новгородских ушкуйников⁵. Сбивали они свои струги на Ильмень-озере и шли на них, кто – на полночь, к Студеному морю-океану, кто – на восход, к дикой гряде Каменного пояса; то сами в ладьях плыли, то их на

⁵ Ушкúй – легкое речное плоскодонное гребное судно с парусом (др. – рус.). Происходит от названия реки Аскуп – правого притока Волхова близ Новгорода.

себе волокли; просекали неизведанные дебри и пустыни; брали под руку Господина Великого Новгорода весь, мерю, чухлому и других сумрачных, скуластых лесных людей, рубили городцы из нетесаных смолистых бревен и шли, шли, шли...

Но была тогда и иная ушкуя. Она рождалась не под набатным гулом вечевых колоколов, но под сладостными напевными звонами Софии Премудрости Божией. Не на поиск новых земель, не за прибыльной рухлядью, рыбьим зубом и пушистыми мехами зверя полуночных дебрей слал ее этот звон, но за тем, что во стократ дороже, за тем, чего не купить было на шумном торжище Новгородском, за познанием света Премудрости Божией, сокрытого в безмолвии пустыни. Шли, искали и находили...

Таковыми ушкуйниками были и соловецкие первосвятители Герман, Зосима и Савватий, приплывшие по Полуночному морю на безмолвный дотоле остров. Первым словом человеческим, сказанным на берегах его, было:

– Хвалите имя Господне ныне и присно и во веки веков. Аминь! – повествуют древние рукописные Жития, уцелевшие от сокровищ книжной палаты Соловецкого архимандрита.

Упал вечевой колокол, сорванный грозной рукой Московского царя. Он – временный, земной, человеческий. Но пели свою горную песнь звонницы Святой Софии. Они – вечные, Божеские. Им отзывались из ясной озерной глубины незримые колокола Преображенного града Китежа, им вторили деревянные била первого храма Соловецкого, сложенного из валунов и нетесаного бурелома, во имя светлого Преображения. Алчущая и жаждущая преображения Духа своего Святая Русь пела хвалу Создавшему горы и дебри, моря и океаны, Сотворившему человека по образу и подобию Своему. Светлого Преображения Духа искали на Соловках святые ушкуйники. Потому и главный собор был воздвигнут там во имя Преображения Господня.

* * *

В 1922 году Преображенский собор сгорел. Его сожгли первые большевистские хозяева острова, чтобы скрыть расхищение ценностей, украшавших его древний пятиярусный иконостас и оставленных в ризнице ушедшей на Валаам братией. В те годы зарево великого пожарища стояло над всей Русью. Новые хозяева жгли украшавшие ее сокровища Духа.

Сотворенное человеком – видимое – сгорало. Сотворенное Богом – невидимое – жило. Оно – вечно.

Четыре века со всей Руси притекали трудники к стенам Соловецкой обители. Земные, отягченные злобой, грехом, изъязвленные, смрадные, покрытые гноем и струпьями в душах своих, сбрасывали они тяготу своих грехов, бремя земной юдоли у гробниц Святителей Соловецких, омывались покаянными слезами, и многие, в жажде светлого преображения трудились во имя Божие, кто год, кто три, кто пять. Иные оставались тут навек и погребены на острове.

Века сплетаются. Оборвалась золотая пряжа Державы Российской, Святой Руси – вплелось омоченное в ее крови суровье РСФСР, а в них обоих в тугом узле – тонкие нити жизни новых соловецких трудников, согнанных метелью безвременных лет к обугленным стенам собора Святого Преображения.

О них – эта запись безвременных лет.

Глава 2

Первая кровь

Вот, наконец, они, страшные Соловки, рассказам об ужасах которых мы жадно внимали в долгие, тягучие часы бутырской бессонницы. Вот они, проникновенные, молитвенные Соловки, о которых повествовала тихоструйная молвь странников, молитвенников и во Христе убогих Земли Русской. Святой остров Зосимы и Савватия, монастыря с созерцателями-монахами, нежным маревом бледных берез и тысячами трудников покаянных, притекавших сюда со всех концов Святой Руси...

И теперь... тянутся сюда новые трудники и тоже со всех концов Руси, но уже не Святой, а поправшей, разметающей по буйным ветрам свою святую душу, Руси советской, низвергнувшей крест и звезде поклонившейся.

Тяжелый девятидневный путь, от Москвы до Кеми, в специальном арестантском вагоне – позади. Девять дней в клетке. Клетки – в три яруса по всей длине вагона; в каждой клетке – три человека, в коридор – решетчатая дверь на замке, там шагает взад и вперед часовой. В клетках можно было только лежать. Пища – селедка и три кружки воды в день. Ночью кого-то вынесли из вагона; потом узнали: мертвеца, чахоточного, взятого из тюремной больницы.

Подходим к острову. «Глеб Бокий» дал уже три сигнальных свистка.

На носу парохода сотни каторжан сбились в плотный, вонючий, вшивый войлок. Мы еще не успели перезнакомиться, узнать друг друга. Среди втиснутой в трюм и на палубу тысячи лишь изредка мелькают знакомые лица. Вот мои сотоварищи по лежащему «купе» в «особом» вагоне, рядом с ними генерального штаба полковник Д., полурусский, полушвед, выпрямленный, подтянутый и здесь, а около него – ящик, самый обыкновенный деревянный ящик, но из него вверх торчит взлохмаченная голова, а с боков – голые руки. Это шпаненок, ухитрившийся на Кемском пересыльном пункте проиграть с себя все.

Блатной закон не знает пощады: проиграл – плати. Не знает пощады и ГПУ: остался голый – мерзни. Ноябрь на Соловках – зима. Руки шпаненка посинели, ноги отбивают мелкую дробь.

Рядом со мной французский матрос в невероятно грязном полосатом тельнике и берете с помпоном. Он словоохотлив, и я уже знаю его историю: прельстившись «странною свободой», он бежал, спрыгнув через борт пришедшего в Одессу французского корабля, и попал... на Соловки. Поеживаясь, поет «Мадлен», но жизнерадостности не теряет.

Ко мне протискивается сидевший в той же, что и я, камере Бутырок корниловец-первопоходник Тельнов, забытый при отступлении больным в Новороссийске. Его лицо беспрерывно подергивается судорогой – старая контузия, память о бое под Кореновкой.

– Дошли до точки! Дальше что?

Что дальше? Глаза всех прикованы к смутным еще очертаниям вырисовывающегося в тумане острова.

Порыв ветра приподнимает туманную пелену, и с неба прямо на ставшие ясными стены монастырского кремля падает сноп лучей. Перед нами вырастает дивный город князя Гвидона на фоне темных, еще не заснеженных елей. Золотые маковки малых церквей высятся над окружающими их многобашенными стенами, теснятся к обгорелой громаде Преображенского собора. Он обезглавлен... Над усеченным куполом колокольни – шест; на нем – обвисший красный флаг.

Красный флаг, свергнувший крест, стал на горнее место над сожженным храмом Преображения. Но кругом еще Русь, древняя, истовая, святая. Она в нерушимой крепости сло-

женных из непомерных валунов кремлевских стен; она устремляется к небу куполами уцелевших монастырских церквей, она зовет к тайне темнеющей за монастырем дебри.

Кажется вот-вот выйдут из пены прибоя тридцать три сказочных богатыря и пойдут дозором по берегу... Но вместо них к пристани приближается отряд вооруженных охранников в серых шинелях и остроконечных шлемах. Соловки, видимо, готовы к приему нас.

– Выходи по одному с вещами! Не толпись у сходней! Стройся в две шеренги!

Казалось бы, куда и зачем торопиться? У каждого впереди долгие годы на острове. Но привычка берет свое: на сходнях давка, чей-то мешок шлепается в воду, у кого-то выхватили из рук сумку и он истошно орет. Толчея и на берегу. Наконец, построены, хотя, вместо шеренги, причудливо извиваются какие-то зигзаги.

Приемка начинается. Перед рядами «пополнения» появляется начальник, вернее владыка острова – товарищ Ногтев. Этому человеку предстояло в течение всего первого года нашего пребывания на Соловках играть особую, исключительную роль в жизни каждого из нас. От него, вернее от изломов его то похмельной, то пьяной психостенической фантазии зависел не только каждый наш шаг, но и сама жизнь. Но тогда, в первые дни по прибытии на остров, мы еще не знали этого. И он, как и его помощник Васьков, были для нас просто чекистами, одними из многих, в лапах которых мы уже побывали и принуждены были оставаться еще долгие годы.

– Здорово, грачи! – приветствует нас начальство. Оно, видимо, в сильном подпитии и настроено иронически-благодушно. Руки Ногтева засунуты в карманы франтовской куртки из тюленьей кожи – высший соловецкий шик, как мы узнали потом. Фуражка надвинута на глаза.

Некоторое время он скептически озирает наш сомнительный строй, перекачивается с носков на пятки, потом начинает приветственную речь.

– Вот, надо вам знать, что у нас здесь власть не советская (пауза, в рядах – изумление), а соловецкая! (Эта формула теперь широко растеклась по всем концлагерям.) То-то! Обо всех законах надо теперь позабыть! У нас – свой закон, – далее дается пояснение этого закона в выражениях мало понятных, но очень нецензурных, не обещающих нам, однако, ничего приятного.

– Ну, а теперь, – заканчивает свою речь Ногтев, – которые тут есть порядочные, – выходи! Три шага вперед, марш!

В рядах – полное недоумение. Кто же из нас может претендовать на порядочность с точки зрения соловецкого чекиста? Молчим и стоим на месте.

– Вот дураки! Непонятно, что ли? Значит, которые не шпана, по мешкам не шастают, ну, там, попы, шпионы, контра и такие-прочие... Выходи!

Теперь соловецкий критерий порядочности для нас ясен. Парадоксально, но факт. Вырванные из советской жизни, как враги ее основ, осужденные и заклеянные на материке множеством позорных кличек, здесь, на острове-каторге мы становимся «порядочными». Но что сулит нам эта «порядочность»?

Большая половина прибывших шагает вперед и снова смыкается в две шеренги. На этот раз линия фронта значительно ровнее. Чувствуется, что в строю много привыкших к нему.

Ногтев снова критически осматривает нас. Он, видимо, доволен быстрым выполнением команды и находит нужным пошутить.

– Эй, опиум, – кричит он седобородому священнику московской дворцовой церкви, – подай бороду вперед, глаза – в небеса, Бога увидишь!

Приветствие окончено. Наступает деловая часть – приемка партии. Ногтев вразвалку отходит к концу пристани и исчезает за дверью сторожевой будки, из окна которой тотчас же показывается его голова.

Перед нами нач. адм. части Соловецких лагерей особого назначения Васьков, человек-горилла, без лба и шеи, с огромной, давно небритой тяжелой нижней челюстью и отвисшей губой. Эта горилла жирна, жирна, как боров. Красные, лоснящиеся щеки подпирают заплывшие, подслеповатые глаза и свисают на воротник. В руках Васькова списки, по которым он вызывает заключенных, оглядывает их и ставит какие-то пометки. Сначала идет переключка духовенства. Вызванные проходят мимо Васькова, потом мимо выглядывающего из будки Ногтева и сбиваются в кучу за пристанью.

Наблюдение за проходом духовенства, видимо, доставляет Ногтеву большое удовольствие.

– Какой срок? – спрашивает он седого, как лунь, епископа, с большим трудом ковыляющего против ветра, путаясь в полах рясы.

– Десять лет.

– Смотри, доживай, не помри досрочно! А то советская власть из рая за бороду вытянет!

Подсчет духовенства закончен. Наступает очередь каэров.

– Даллер!

Генерального штаба полковник Даллер размеренным броском закидывает мешок за плечо и столь же размеренным четким шагом идет к будке Ногтева. Вероятно так же спокойно и вместе с тем сдержанно и уверенно входил он прежде в кабинет военного министра. Он доходит почти до окна и вдруг падает ничком. Мешок откатывается в сторону, серая барашковая папаха, на которой еще видны полосы от споротых галунов, – в другую.

Выстрела мы сначала не услышали и поняли происшедшее, лишь увидев карабин в руках Ногтева.

Два стоявших за будкой шпаненка, очевидно, заранее подготовленных, подбежали и потащили тело за ноги. Лысая голова Даллера подпрыгивала на замерзших кочках дороги. Труп оттащили за будку, один из шпанят выбежал снова, подобрал мешок, шапку отряхнул о колени и, воровато оглянувшись, сунул в карман.

Переключка продолжалась.

– Тельнов!

Я сидел с ним в одной камере Бутырок и слушал его сбивчивые, несколько путанные, но полные ярких подробностей рассказы о Ледовом походе. Поручик Тельнов не лгал, он не раз видел смерть в глаза. Трудно испугать угрозой смерти того, кто уже проходил страшную грань отрешения от надежды на жизнь. Но теперь он бледнеет и на минуту замирает на месте, устремив глаза на торчащее из окна будки дуло карабина. Потом быстро, размашисто крестится и словно прыгает с разбега в холодную воду. Пригнувшись, втянув голову в плечи, он почти пробегает двадцать шагов, отделяющих строй от будки. Пройдя ее, распрямляется и снова размашисто крестится.

Все мы глубоко, облегченно вздыхаем и чувствуем, как обмякают наши, напряженные до судорог, мускулы.

– Следующий!.. – выкрикивает мою фамилию Васьков.

Меня! Кровь отливает от сердца и чугунным грузом падает в ноги. Они не повинуются, но я знаю, что нужно идти. Стоять на месте нельзя.

– Да воскреснет Бог, и да расточатся враги Его! – шепчу я беззвучно.

Дуло карабина продолжает торчать из окна. Между мною и им какая-то незримая, но неразрывная связь. Я не могу оторвать глаз от него и держащей его волосатой красной руки с толстым указательным пальцем, лежащим на спуске. Эту руку я рассмотрел тогда до малейшей складки на сгибах коротких пальцев, до рыжеватого пуха, уходящего под обшлаг тюленьей куртки. Ее я не забуду всю жизнь.

Но я иду. Дуло все ближе и ближе... Вот поднимается... нет... показалось. Ничего нет в мире, кроме этого дула, лежащего на подоконнике.

Осталось десять шагов... восемь... шесть... пять...

Красная волосатая рука заслонила весь мир. Она огромна. В ней – жизнь и смерть. Каждая секунда – вечность. Четыре шага...

Зажмуриваюсь и прыгаю вперед. Бегу.

Должно быть, роковая черта уже пройдена. Открываю глаза.

– ???

– Да!

Рядом со мною Тельнов. Окно будки позади. Из него по-прежнему торчит карабин. Васьков выкрикивает новую фамилию, не мою, теперь не мою!

Было страшно? Страшнее урагана немецкой шрапнели? Страшнее резки проволоки под пулеметным дождем?

Был не только страх смерти, но отвращение, ужас перед гнусностью этой смерти от руки полупьяного палача, смерти безвестной, жалкой, собачьей... Ощущение бессилия, поработанности, плена ни на секунду не покидало глубин сознания и делало этот страх нестерпимым.

Но, конечно! Я жив! – Радость жизни наполняет всего меня. Она разливается по жилам, пьянит, заставляет ликовать, животно, по-дикарски... Жив! Жив! Я не знаю, что будет завтра, через час, через минуту, но сейчас я жив. Дуло карабина и держащая его рука – позади.

Больше выстрелов не было. Позже мы узнали, что то же самое происходило на приемах почти каждой партии. Ногтев лично убивал одного или двух прибывших по собственному выбору. Он делал это не в силу личной жестокости, нет, он бывал, скорее, добродушен во хмелю. Но этими выстрелами он стремился разом нагнать страх на новоприбывших, внедрить в них сознание полной бесправности, безвыходности, пресечь в корне возможность попытки протеста, сковать их волю, установить полное автоматическое подчинение «закону соловецкому».

Чаще всего он убивал офицеров, но случалось погибать и священникам и уголовникам, случайно привлечшим чем-нибудь его внимание.

Москва не могла не знать об этих незаконных даже с точки зрения ГПУ расстрелах (многие из заключенных продолжали оставаться под следствием и в ссылке), но молчаливо одобряла административный метод Ногтева: он был и ее методом. Вся Россия жила под страхом такой же бессмысленной на первый взгляд, но дьявольски продуманной системы подавления воли при помощи слепого, беспощадного, непонятного часто для его жертв террора. Когда нужда в Ногтеве миновала, он сам был расстрелян, и одним из пунктов обвинения были эти самочинные расстрелы.

Через пятнадцать лет так же расплатился за свою кровавую работу всесоюзный палач Ягода. Вслед за ним – Ежов.

Участь «мавров, делающих свое дело», в СССР предрешена.

Глава 3

Соловки в 1923 году

И в давно ушедшие времена бывали такие, что не своей волей проходили за тяжелые, окованные железом ворота Соловецкой обители. Привозили их туда с гербовыми листами, именными указами архимандриту. В них прописано было, как именовать и как содержать присланных: в железах ли, в затворе или с братией купно, с именами или безымянно. Случалось, что имена их самому архимандриту известны не бывали, а в листах значилось: «указанные персоны».

Когда братия уходила с острова, то древние книги и рукописи, – много было их в «книжной палате» архимандрита, – схоронили в потаенном месте. Может быть, закопали в землю, а может – и в стену замуровали. Оставшимся чернецам то место указано не было. Но хозяйственные книги чуть ли не за три века и часть монастырского архива остались. Половина их, а возможно и больше, погибла от огня, остальное было свалено в подвалы и в «рухольную клеть» монастыря, где уже лежали многие тысячи икон и иконок древнего дониконианского и нового письма. Новые пришедшие трудники нашли эти листы, книги, тетради и даже свитки, разбирали их ночами, после работы в лесу, и потом поместили в антирелигиозный музей. В этом архиве и значились некоторые узники ушедших веков Соловецкого монастыря.

В конце недолгого царствования второго Петра, по навету врагов своих – вошедших в силу Долгоруких – привезен был на Соловки первый граф Толстой, Петр Андреевич, заключен был в угловую кремлевскую башню и прожил в ней более десяти лет. При воцарении дочери Петровой о старике вспомнили. Долгорукие тогда уже сложили свои головы на плахе. Присланный на остров гвардии сержант объявил узнику царицыну милость: все отобранное в казну имение, чины и ордена вернуть, а самому быть, где пожелает.

Но старец не захотел вернуться в суетный Санкт-Петербург. Преобразилась черная душа предавшего на муки и смерть горемычного царевича, принял он ангельский чин и в покаянии, слезах скончал свои дни.

В уцелевших от пожара и расхищения листах соловецких записей значатся и другие узники. Вины их не указаны, и можно лишь догадываться, что при Екатерине попадали сюда иные вольтерьянцы-богоотступники и кое-кто из братьев-каменщиков, но не в затвор навечно, а покаяния в грехах ради, по церковному суду. Через год-два их отпускали.

Последним Соловецким узником был последний кошевой атаман Запорожской Сечи Петр Кальнишевский. Пробыл он в заточении вплоть до восшествия на Российский престол императора Николая Павловича. Сто один год ему был, когда пришло помилование, и он, как Толстой, не захотел вернуться в суетный, ставший чуждым ему мир, но пострига не принял и, скончавшись, похоронен был не на братском кладбище, а одиноко, в стенах кремля.

Его могила нетронута и по сей день. На ней лежит тяжелая каменная плита с полустертой надписью.

* * *

Первые узники Соловецкой каторги – Соловецких лагерей особого назначения – СЛОН-ОГПУ – прибыли на разоренный остров в 1922 году. Это были в подавляющем большинстве офицеры Белых армий, вольно или невольно оставшиеся на территории бывшей Российской Империи, ставшей тогда РСФСР.

Они пробыли здесь недолго. Через месяц ими забили до отказа две гнилых баржи, вывели на буксире в море и потопили вместе с баржами.

Но тропа была проложена, и по ней потянулись новые и новые толпы. Прибывали и одиночки. Главным образом, сюда шли «каэры» – заподозренные в контрреволюции (уличенных, конечно, расстреливали на месте), но была и шпана, и «легалы» провинившиеся чекисты. Соловецкая песня рассказывает об этом времени так:

...И со всех углов Советского Союза
Едут, едут, едут без конца...
Все смешалось: фрак, армяк и блуза.
Не видать ни у кого лица...

В 1923 году, кроме немногих оставшихся там монахов, на Соловецком, Анзерском, Заячьем и Конде – четырех островах каторжного архипелага – было лишь два-три человека, прибывших туда по своей воле.

Охрану берегов нес Соловецкий особый полк (СОП) – мобилизованные. Им командовал Петров, комиссаром при нем состоял Сухов. Оба заслуженные красные партизаны гражданской войны, оба сильно пили, вследствие чего и были упрятаны подальше от глаз.

Первым начальником СЛОН был Ногтев, попавший туда по той же причине и позже там же расстрелянный. Он был прост и малограмотен, во хмелю большой самодур: то «жаловал» без причины, отпуская с тяжелых работ, одаривал забранными в Архангельске канадскими консервами, даже спиртом поил, то вдруг схватывал карабин и палил из окна по проходившим заключенным... Стрелял он без промаха, даже в пьяном виде.

Топивший в его комнатах печи уголовник Блоха рассказывал, что по ночам Ногтев сильно мучился. Засыпать он мог только будучи очень пьяным, но и заснувши, метался и кричал во сне:

– Давай сюда девять гвоздей! Под ногти, под ногти гони!

До Соловков он был помощником Саенко, знаменитого харьковского чекиста времен гражданской войны.

Его заместителем и после него вторым начальником СЛОН, тогда ставшим УСЛОН, был латыш Эйхманс, тоже проштрафившийся чекист, откомандированный на Соловки за хищения и растраты. Он был иного типа: интеллигентный (бывший студент Рижского политехникума), деловитый, энергичный, он делал карьеру на революции, дал промах на прежней службе, а потом на Соловках старательно и умно выслуживался. Вернуться на материк ему все же не удалось. По неизвестным причинам он был переведен лет через пять начальником лагеря на Новую Землю и там расстрелян. ГПУ строго хранит свои тайны. При Эйхмансе кровавый хаос Ногтева постепенно замыкался в твердую, четкую систему советской каторги.

Таковыми же «почетными» ссыльными были и остальные вельможи Соловецкой сатрапии первых лет: нач. адм. части тупой, звероподобный Васьков и нач. 1-го отд. УСЛОН грубый, но добродушный Баринов. Даже нач. санитарной части М. В. Фельдман, жена члена верховной коллегии ОГПУ, была сослана туда собственным мужем для охлаждения ее африканских страстей. Она закончила свои дни в стиле всей своей жизни: была убита ревнивым поклонником в Пятигорске. Но на Соловках о ней сохранилась добрая память: мягкая, культурная, окончившая Женевский университет, она многим облегчила тяжелые годы и казалась светлым лучом в сумраке соловецкой безотрадности.

Такие же провинившиеся чекисты занимали все крупные должности в управлении, из них состояла внутренняя охрана и комплектовался комсостав пятнадцати арестантских рот (шестнадцатая рота – кладбище на соловецком жаргоне).

Каторжное население Соловков в первые годы их существования колебалось от пятнадцати до двадцати пяти тысяч. За зиму тысяч семь-восемь умирало от цинги, туберкулеза и истощения. Во время сыпнотифозной эпидемии 1926—27 годов вымерло больше половины заключенных. Но с открытием навигации в конце мая ежегодно начинали приходить пополнения, и к ноябрю норма предыдущего года превышалась.

Роты были разнохарактерны и по составу, и по режиму, и по быту. Первые три составляли «трудовой пролетариат» и были на привилегированном положении: размещались по пять-шесть человек в бывших монашеских кельях, светлых, теплых, чистых, имели пропуск за ворота кремля. В них концентрировались рабочие местных производств, оставшихся от образцового монастырского хозяйства: верфи, литейно-слесарной мастерской, канатного, гончарного, кирпичного заводов. Четвертая и пятая роты – хозяйственные, тоже со смягченным режимом. Шестая – духовенство. Она была сформирована позже уже во время правления Эйхманса, и создавалась в силу необходимости. До того времени на кухни и продовольственные склады назначались каторжане разных категорий, но все неизбежно проворовывались: голод – не тетка. Это надоело Эйхмансу, и практичный латыш решил сдать все дело внутреннего снабжения лагерей корпоративно духовенству, до того рассеянному по самым тяжелым уголовным ротам и не допускавшемуся к сравнительно легким работам. Духовенство приняло предложение, епископы стали к весам, за складские прилавки, диакконы пошли месить тесто, престарелые – в сторожа. Кражи прекратились.

В десятой роте группировались наиболее привилегированные спецы и служащие управления. Они жили сравнительно свободно. Зато одиннадцатая рота была тюрьмой в тюрьме: помещения на ночь запирались. Три последние роты – самые тяжелые. Они были размещены в наскоро приспособленных развалинах Преображенского собора, холодных, темных, грязных, с нарами в три яруса. Бесперывный шум сбитых сюда двух-трех тысяч человек, полное господство уголовников, тяжелые работы в лесу, на торфяных болотах и в море – вязка плотов. Через эти роты в обязательном порядке проходили все новоприбывшие, и многие застревали в них. Смертность здесь превышала пятьдесят процентов.

Счастливицы, после долгих мытарств, попадали в отдаленные командировки: в Савватиевский скит – главную стоянку рыболовов, на Муксольму, где помещался скотный двор и было огородное хозяйство, и в разбросанные по островам малые скиты. Там, вдали от начальства, жилось вольнее.

Женщины помещались отдельно в «женбараке», вне кремля, а на маленьком Заячьем острове, в полуверсте от пристани, был штрафной женский изолятор. Традиция затейливо протянулась через оборванный век: но с Заячьего острова молились Соловецким святыням женщины-паломницы, не допускавшиеся на самый остров. В каторжные времена на «Зайчиках» был только один мужчина – семидесятилетний еврей-бухгалтер из ЧК Моргулис. Любовь была строжайше запрещена на Соловках, и преступления против этого запрета жестоко карались; Ромео шел на Секирку, Джульетта – на Зайчики.

Кормили беспрерывно и неизменно похлебкой из голов трески. Хлеба, очень плохого – полкило. Жиров не было совсем. Цинга и туберкулез развивались быстро, и с необычайной силой. Заболевший редко задерживался в лазарете более месяца перед последней путевкой в «шестнадцатую роту». Там его ждала всегда разверстая братская могила.

Особенно страдали от этих болезней шпана, уголовники, здоровье большинства которых было уже расшатано водкой и кокаином.

В эти первые годы первой советской каторги ГПУ еще не уяснило себе экономических выгод широкого применения рабского труда. Система концлагерей зародилась здесь же, на Соловках, но несколько позже. Тогда же Соловки были просто каторгой с жесточайшим режимом, царством полного произвола, бойней, в которой добивались последние явные и

многие возможные враги советизма, а также свалкой для нетерпимого в столицах уголовного элемента.

Непосильный для большинства двенадцатичасовой тяжелый труд был лишь методом массового убийства, но не служил еще целям эксплуатации и коммерческой выгоды.

Все вновь прибывшие проходили сначала общие работы: лесозаготовки, торф, вязку плотов. Норма выработки: срубить, очистить от сучьев и вытащить на дорогу десять деревьев в день выполнялась немногими, сильнейшими. Невыполнение урока иногда сходило с рук, но чаще влекло за собой задержку в лесу на морозе на несколько часов, а то и на всю ночь. Многие замерзали. Замерзали и в старой монастырской дощатой голубятне, куда за отказ от работы запирали в мороз в одном белье. Летом за то же преступление ставили «на комарики»: привязывали голыми на ночь в лесу, где комаров, «гноса», носились тучи. За преступления против дисциплины и лагерных правил полагались «Секирка» или «Аввакумова щель», о них – особый рассказ. На работах, особенно ночных, пристреливали часто. Но были очень редко. Случаев избиения каэра я не помню. Шпане попадало.

С общих работ просачивались на производства. Там было легче. Наиболее ловкие интеллигенты быстро приспособлялись к соловецкой обстановке и пролезали в «чиновники» управления, прорабы, табельщики и т. д. Это давало возможность облегчить быт, получить лучшее помещение (пища была еще одинакова для всех), пропуск за ворота и другие блага.

Капля воды отражает в себе океан. Соловки отражали в себе все основные черты тогдашней жизни Советского Союза, население которого, болезненно отрываясь от старого уклада, еще только приспособлялось к новым уродливым формам.

На Соловках было тесно, и поэтому борьба за жизнь была особенно заострена. Было холодно и голодно – трения, укусы, уколы, неразрывные в быту с этой борьбой, ощущались особенно болезненно.

Темпы развития новых советских бытовых форм на Соловках даже обгоняли союзные: тюремная замкнутость, безграничный произвол, полное презрение к человеческой личности и ее правам, постоянная беспредельная лживость, вездесущий, всемогущий «блат» – узаконенное мошенничество всех видов, хамство, перманентный полуголод, грязь, болезни, непосильный, принудительный, часто бессмысленный труд – все это доводилось до предела возможного.

И вместе с тем, среди этой напалзавшей мути безвременных лет, на Соловках того периода еще вспыхивали зарницы высокого жертвенного подвига, отблеска осознанного до глубин души долга, светочи чистой Христовой любви, каких уже не было позже, в годы, описанные И. Солоневичем («Россия в концлагере»), и тем более в той беспросветной зловонной мути, в которой погрязал еще позже М. Розанов («Открыватели белых пятен»). Ближе всего к описываемому мною периоду очерк Г. Андреева «Соловецкие острова». Тем не менее, все три упомянутых автора писали правду: менялись времена – менялись люди.

Последние нити старой Руси тогда еще вплетались в новую советскую жизнь. Соловецкие каторжане «первых призывов» были осколками Великого Рухнувшего. Они не прошли еще шлифовки НЭПа, переплавки пятилеток, их сознание не было еще истерто в порошок дробилкой советской пропаганды, жерновами звериного, скотского советского быта – «житухи», они не были еще теми «мизерами», размельченными личностями, в которых неуклонно и неотвратимо превращает русских людей победивший социализм и неразрывная с ним жалкая, мелочная и страшная именно своей мелочностью борьба за «местечко под солнцем», за сто граммов колбасы, за полметра дополнительной жилплощади...

На Соловках это столкновение – связь двух эпох – переживалось острее и резче, чем «на воле», ибо здесь концентрировались протестующие, которые там были рассеяны, но и

здесь и там на смену человеку шел гомункулюс, механизм; брюхо напирало на сердце, но сердце еще билось...

На Соловках первых лет их существования это биение было слышнее, потому что сюда стекали последние капли крови из рассеченных революцией жил России.

Глава 4

Без вины виновные

На Соловках первой половины двадцатых годов, до стабилизации концлагерной системы, не было ни одного заключенного, осужденного по суду, иначе говоря, имевшего за собой в какой-либо мере доказанное, хотя бы с советской точки зрения, преступление. Все каторжане всех категорий, от уголовной шпаны до высших иерархов церкви, были сосланы туда по постановлениям верховной коллегии ОГПУ, особого совещания при ОГПУ и местных троек по борьбе с контрреволюцией, т. е. внесудебным порядком.

Уголовники: воры-рецидивисты, притонодержатели, проститутки-хипесницы и просто бродяги осуждались по ст. 49-й старого уголовного кодекса РСФСР, как «социально-опасные», на основании их прежних приводов, недоказанных подозрений или просто задержанные при частых в то время облавах. Уличенные в краже шли под «суд народной совести» и получали короткие сроки исправдома, где находились в значительно лучших условиях.

Крупные воры и бандиты встречались на Соловках единицами. Поймать их было нелегко, при тогдашней организационной слабости ГПУ и УРО (уголовного розыска), а пойманные охотно принимались на службу в те же учреждения в качестве агентов, следователей, палачей, инспекторов. Начальником банд. отдела Московского ГПУ был некто Буль, в прошлом атаман крупной бандитской шайки, широко известный в уголовном мире «мокрытник» (убийца); его помощник Шуба – тоже бывший бандит. Позже, по миновании надобности, всех их, в том числе и Буля, расстреляли.

Аналогичный метод подбора ссыльных на Соловки был и на другом конце каторжного спектра – в среде «политических», к которым тогда причислялись *только члены социалистических партий*. Армянские дашнаки, бакинские муссаватисты, не говоря уже о членах несоциалистических партий – кадетов, октябристов и монархистов, – в этот разряд не попадали. «Политические» на Соловках до 1926 года жили отдельно, в Савватьевском скиту, в значительно лучших условиях, работ не несли и пользовались помощью и покровительством представительницы Международного Красного Креста в СССР М. Андреевой, бывшей жены М. Горького. Крупные партийцы – социалисты-революционеры, меньшевики и бундовцы – попадали в строго замкнутый Суздальский изолятор, на Соловки же шли рядовые, по большей части примкнувшие к одной из социалистических партий лишь во время революции.

Основную массу соловецких каторжан того периода составляли «каэры», осужденные по подозрению в контрреволюции, а рамки этого понятия были расширены до безграничности. Наиболее определенными группами «каэров» были офицерство (как белое, так и пришедшее революцию) и духовенство. Но, кроме них, в этот разряд попадали самые разнообразные лица: камергеры Двора, тамбовские мужики, заподозренные в помощи повстанцам, директора крупных фабрик в прошлом и кавказские мстители-кровники; фрейлины и проститутки, юнцы, осмелившиеся танцевать запрещенный фокстрот, лицеисты, собравшиеся в день своей традиционной годовщины, китайцы-разносчики, матросы-анархисты, отставные генералы, их денщики; профессора, финансисты, валютчики, вернувшиеся из эмиграции сменовеховцы, заблудившиеся в РСФСР иностранцы... кого только не было!

Термины «бывший» или «знакомый с NN» служили ГПУ вполне достаточным основанием для ссылки. Улика же в активной контрреволюции или хотя бы тень ее вели не на Соловки, а к расстрелу. Действенными, активными контрреволюционерами на Соловках можно считать лишь офицеров Белых армий. Кстати сказать, эти офицеры были амнистированы декретом Ленина после победы над генералом Врангелем, но все же их ссылали и

истребляли. Потенциальными, пассивными «каэрами» были все соловчане, включая значительную часть шпаны и даже некоторых репрессированных чекистов.

Уродливость советской «юриспруденции» доходила до невероятных гротесков. Эстрадный куплетист-еврей Жорж Леон был сослан за... антисемитизм. В его репертуаре были одесские еврейские песенки, которые он исполнял с акцентом. Кому-то из власть имущих это не понравилось, и Жорж Леон поехал на Соловки, но здесь, в лагерном театре, с успехом пел те же песенки под аплодисменты не только лагерного начальства, но и верховного владыки, приехавшего туда члена коллегии ОГПУ Глеба Бокия.

Брат большевицкого публициста и писателя Виктора Шкловского Владимир, самоуглубленный философ, абсолютно чуждый политике, был дружен с православным священником и принял от него на хранение подлежавшие «изъятию» крест и чашу. Это узналось, и еврей В. Шкловский был осужден как тихоновец, православный церковник.

Императорский, а позже красноармейский офицер В. Мыльников получил десять лет по делу о «заговоре Преображенского полка», хотя единственным знакомым ему преображенцем был пор. Висковский, учившийся с ним вместе в 3-й московской гимназии и после окончания ее ни разу с ним не встречавшийся.

На Соловках того времени гораздо труднее было найти человека, знающего конкретно предъявленные ему обвинения, хотя бы иллюзорные, чем абсолютно не представляющего — за что же, собственно говоря, он сослан?

В этом стиле велось тогда и предварительное следствие, значительно отличавшееся по форме от последующих периодов: и следователь и подследственный были вполне уверены как в полной вздорности обвинения, так и в неизбежности репрессии. Поэтому следователь не стремился ни к выяснению деталей, ни к раскрытию сути дела. Было совершенно достаточно выяснить личность «бывшего» и узнать десяток фамилий его знакомых, — «дело» было состряпано, обвиняемый получал сообщение от прокуратуры о привлечении его по таким-то статьям, а потом — столь же краткий, содержащий лишь номера статей, приговор «заочного внесудебного решения» коллегии или особого совещания... и он был на Соловках, где по словам песни:

...попы, шпана, каэры
доживают век.
Там статья для всех найдется,
был бы человек!..

Человек в те годы еще находился, и даже в достаточном количестве.

Начиная с 1927—28 годов, тип «каэра»-интеллигента в советских концлагерях начал исчезать. Резервуар иссякал. На Медведке, на Беломорском канале (период, описанный И. Солоневичем) «каэра» уже сменял «вредитель», незадачливый или проворовавшийся хозяйственник, экономическая «контра», «хвостисты темпов развития» и т. д. Это действовала пятилетка. Коллективизация бросила в концлагеря гигантскую волну раскулаченных крестьян. Позже специфика концлагерного типа окончательно утратилась. Различие между концлагерным и вольным принудителем стерлась (период, описанный М. Розановым).

Человек-личность уходил в прошлое. Его место занимала безликая рабсила, робот-каторжник, «гражданин» эпохи победившего социализма.

Часть вторая Неопалимая купина

Глава 5 И мы – люди

В одной из первых партий 1923 года на Соловки прибыл провинциальный актер Сергей Арманов.

Кремль того времени по своему внешнему виду был далек от того кипящего своей особой, каторжной жизнью муравейника, в который он превратился в 1925 году. В центре его мрачно чернели обгорелые купола громады Преображенского собора, дворы были завалены мусором и обломками... Сорванные двери, разбитые окна... Пожарище...

Первый революционный захватчик мощного, богатого и образцово благоустроенного монастыря – Кемский земельный отдел Архангельского совдепа – прежде всего занялся грабежом богатств, накопленных трудолюбивыми монахами за четыреста лет, но не успел вывезти и половины, как пришел приказ Москвы передать острова ГПУ.

Новый хозяин шутить не любил и упускать свое «наследство» тоже не собирался. Грабители прибегли к старому испытанному способу – подожгли монастырь, чтобы замести след. Сильно пострадал замечательный пятиярусный иконостас работы суздальских мастеров XVII века, погибла в огне большая часть архива с грамотами Московских царей и Новгородских посадников, многие ценности ризницы, но толстые, навек сложенные стены жилых корпусов устояли. Они спасли от огня и палаты архимандрита, его малую домовую церковь и сводчатую, темную трапезную братии. В эту трапезную и попали прибывшие.

Если бы сценический талант Сергея Арманова был равен хотя половине его великой, пламенной любви к театру, то он, Арманов, несомненно, превзошел бы в славе своей и Тальма, и Гаррика, и Мочалова... Вся вселенная представлялась ему лишь огромной сценой, на которой Великий Режиссер разыгрывает нескончаемую трагедию. Даже сидя под следствием в Бутырках, он ухитрился и там, в набитой до отказа общей камере, составить нечто вроде труппы-варьете с танцорами, певцами, декламаторами и китайским фокусником.

Новоприбывшие наскоро сбивали нары из обгорелых досок, а в воображении актера Арманова уже горели огни ramпы в глубине трапезной, где еще стоял крепко въевшийся за двести лет в стены запах неизменной монастырской ухи из трески.

Наутро, когда дежурный конвоец заорал во все горло: «На поверку становись! Живо!» – перед ним вынырнула из темноты тощая длинная фигура.

- К врачу, что ли? Потом заявишь! Становись!
- К начальнику лагеря.
- А ты кто будешь растакой-сякой?
- Известный артист Арманов! – прозвучал гордый ответ.
- Знаем... Здесь все артисты... Становись!
- Театр устрою!

Это было сказано так уверенно и внушительно, что произвело впечатление. В полдень Арманов уже излагал свой план начальнику отделения Баринovu, а вечером шнырял по темным коридорам, спотыкался о валявшиеся там бревна и доски, падал, чертыхался, наступал на чьи-то руки и ноги, но неумоимо, упорно искал желавших играть на сцене без освобождения от работы, после десяти-двенадцати часов тяжелого труда на морозе. И нашел.

* * *

Репетировали, вернувшись с работ и наскоро похлебав баланды из голов соленой трески. Собирались на репетиции туго, порою с руганью, но, начав повторять за суфлером, режиссером и главным актером Армановым слова роли, просыпались, оживали; распрямлялись спины, загорались глаза.

Электростанция еще ремонтировалась, света не было. В келье горел единственный, добытый тем же Армановым огарок. Культурно-просветительная часть административного аппарата тоже не была еще организована. Она создавалась позже, после первого спектакля, как надстройка над уже начатой «снизу» культурной работой.

Часть актеров выбыла после первых же репетиций: одни сами бросили, другие оказались никуда не годными. Арманов нашел им замену, и через две недели на замшелой кремлевской стене, около главных ворот, красовалась первая на Соловках, тщательно, с соблюдением всех тонкостей театральных традиций, выписанная разведенным химическим карандашом афиша:

СОЛОВЕЦКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ И КОМЕДИИ

1. Медведь

Миниатюра А. П. Чехова

Участствуют: АРМАНОВ, Овчинников, Рахман

2. стакан нефти

Злободневный политический гротеск Н. Б.

Участствуют: АРМАНОВ, Климов, Красавцев, Чекмазов

3. Грандиозный разнообразный дивертисмент

Кавказские танцы. Хор сибирских бродяг.

Цыганские романсы. Куплетист Иван Панин

в своем репертуаре.

Соло на балалайке – виртуоз Лепеша.

Участвует вся труппа

Вход по билетам

Худ. рук. С. АРМАНОВ Режиссер С. АРМАНОВ

Дирекция С. АРМАНОВ

Начало в 7 часов вечера

Единственный раз в жизни Сергея Арманова осуществилась его заветная мечта: его фамилия красовалась на афише, написанная крупнейшими буквами. Потом лагерное начальство запретило выделять кого-либо из артистов.

Но в тот знаменательный день Арманов, несомненно, заслуживал лаврового венка. Им было сделано все: сцена из опрокинутых шкафов, в которых хранилась прежде посуда трапезной, декорации из побеленных известкой мешков, из них же занавес, грим из клюквы и сажки, пудра из отсеянной муки... Даже текст «Медведя», который он записал по памяти, с некоторыми, правда, дополнениями... но, думается, простит их ему никого не осудивший при жизни автор!

Вторая пьеса была взята из случайно нашедшегося у кого-то номера журнала «Синяя блуза». Героем его был «фашист» Детердинг.

Нужна ли была эта афиша в концлагере, где каждый случайно пущенный слух разносится мгновенно по арестантской «радио-параше»?

Нужна. Перед ней беспрерывно толпились, читали, перечитывали, уходили и снова к ней возвращались, находя в ее чтении какое-то непонятное наслаждение.

Нигде так не любят, не ценят *своего* театра, как на каторге. Нигде так не гордятся им и актеры и зрители.

Это видел еще Достоевский на представлениях «Кедрила-обжоры». Видел и понял. Но не сказал: почему.

Театр на каторге – экзамен на право считать себя *человеком*. Восстановление в этом отнятом праве. Афиша – диплом на это звание и для актера и для зрителей. Вот почему перед нею толпились.

– И мы – люди. Все-таки, как-никак, а – люди. Несмотря ни на что – люди!

Позже, когда спектакли стали регулярными и сам театр превратился в профессиональный, яркость этого ощущения утратилась, но тогда, на пожарище, каждый из читавших афишу, не сознавая, чувствовал это, ради этого ощущения перечитывал ее и, отойдя, возвращался к ней вновь.

Создатель первого соловецкого каторжного театра, третьеразрядный провинциальный актер Сергей Арманов имел полное право начертать аршинными буквами свое имя!

Когда выяснилось что больше половины мест в зрительном зале получают солдаты Соловецкого особого полка, охрана и начальство, спектакль чуть не сорвался.

– Не для них после работ репетировали!.. – негодовали актеры, и только обещание повторения спектакля удержало их от отказа играть, хотя знали, что это будет сочтено саботажем и репрессии неизбежны.

Билеты распределялись через ротных командиров, и для получения их нажимались все пружины всемогущего блата. Не обошлось и без барышничества, и цена за билет доходила до десяти хлебных пайков – стоимости крепких ботинок на каторжанском рынке.

Сказать трафаретно «спектакль прошел с шумным успехом» значило бы обокрасть Арманова в день зенита его славы. Хлопали до онемения ладоней, стучали ногами, завывали воплями вызовов... Было забыто все: каторга, непосильный изнурительный труд, безмерное унижение, голод, поджидавшая многих смерть...

Огни рампы, вспыхнувшие в монашеской трапезной, творили свое чудо преображения. На сцене из поваленных шкафов их свет превращал заурядного актера Арманова *только* в могущественного миллиардера Детердинга, но на скамьях зрителей он претворял в *людей*, отчаявшихся ими быть...

* * *

На следующий день в приказе по УСЛОН было отдано распоряжение об организации воспитательно-просветительной части, начальником которой был назначен Неверов, чекист-хозяйственник из сельских учителей, бесцветный, но мягкий по характеру человек, вероятно, большой неудачник в жизни, чем лишь и можно объяснить то, что на Соловках он был чуть ли не единственным, прибывшим туда добровольно. В помощники ему для фактического руководства работой дали бывшего начальника ЧК Закавказья Д. Я. Когана, сосланного на предельный срок (тогда десять лет). До революции Коган считался крупным подпольщиком и теоретиком марксизма, конкурентом Кирова и Орджоникидзе, что, кажется, и загнало его на Соловки.

Вскоре из Бутырок было получено несколько тысяч книг, начала работать библиотека⁶.

⁶ До революции заключенные в Бутырской тюрьме твердо держались традиции оставлять в ней при выходе или пере-

Театр стал постоянным, но его актеры освобождены от работ не были. Однако само помещение театра в бывшей монастырской трапезной было хорошо оборудовано. Сцена, зрительный зал, освещение, декорации – все было сделано под руководством бескорыстного слуги Мельпомены Арманова и, выполнив предназначенное ему судьбой дело, он отошел на задний план, уступив место вновь прибывшему старому провинциальному комику М. С. Борину, широко известному на юге России.

Макар Семенович Борин был тертым калачом. Три десятка лет работы в провинциальных антрепризах дали ему не только глубокое знание сцены, но, может быть, еще более глубокое знание человеческой души.

Через несколько дней после высадки на острове он вполне ориентировался в сложной и запутанной системе внутренних соотношений каторжного муравейника, понял, что Неверов – нуль, хоть и числится начальником ВПЧ, вся же сила в руках Васькова, грубого полужверя, но вместе с тем и очень глупого человека, которым, в свою очередь, управлял умный и деловитый Коган, а Когану нужно показать товар лицом. Он-то знает толк и разберется в качествах актера. Поэтому для своего соловецкого дебюта Борин выбрал «Лес» и выступил в сотни раз игранный им, испытанной и проверенной роли Аркашки. Несчастливцева играл Арманов.

Опытным, наметанным глазом старого лицедея Борин нащупал среди энтузиастов-любителей сносных и даже хороших исполнителей других ролей и «показал класс».

Разница между ним и Армановым была ясна, и Борин стал первым освобожденным от других работ руководителем соловецкого театра.

Действуя и дальше «тихой сапой», он клал на свою стройку кирпич за кирпичом: выпросил сначала освобождение от работ для нескольких ведущих актеров, потом еще для десятка, «прикрепил» к театру технический персонал: портного, парикмахера, бутафора, плотников...

Через год в новом, изящно отделанном по эскизам ссыльного художника Н. Качалина и прекрасно оборудованном театре на тысячу пятьсот мест М. С. Борин давал перед приехавшей на Соловки, во главе с «самим» Боким, заместителем Менжинского, комиссией действительно блестящий парадный спектакль – «Бориса Годунова» А. С. Пушкина, в собственных, выполненных художниками-каторжанами декорациях и роскошных костюмах, сшитых из нераскраденных, в силу невозможности сбыть, запасов парчи монастырской ризницы.

Глава 6

Последний из Могикан

Это был длившийся два-три года период максимального напряжения культурной жизни Соловецкой каторги. Старая интеллигенция составляла около поло вины ее населения и беспрерывно пополнялась новыми ее представителями всех видов и всех профессий. Традиции русской культуры, надломленные революционной бурей, были еще живы и действенны. Приспособленчество в те годы еще не растерло личность в порошок. «Последние могикане» русской интеллигенции тогда не только помнили, но и ощущали и несли в себе ушедшее «вчера». Духовенство высоко держало крест, офицерство хранило устои долга и чести, юристы – их было много на Соловках того времени – стройное представление о праве и законности, артисты и художники – стремление к свободе творчества и бескорыстному служению искусству.

Все это находило свои формы выражения даже в условиях каторги – вернее, открытой могильной ямы, в которую упоенный победою всероссийский Шигалев сбрасывал огулом действительных и возможных врагов грядущего коммунистического рабства.

Соловецкий театр первых лет своего существования выражал эти, еще жившие тогда традиции ярко и полноценно. Он мог сделать это, так как в нем нуждались сами тюремщики, как в яркой вывеске, кричавшей о культуре, и в силу этого предоставляли соловецкой сцене относительную свободу, – как это ни странно, но значительно большую, чем та, которую имел театр тех лет на материке.

В репертуаре соловецкого театра 1923–27 годов агитка почти отсутствовала и шли даже запрещенные в РСФСР пьесы, как, например: «Псиша», «Старый закал», «Каширская старина», «Сатана» (Гордина).

– Попов и генералов все равно не сагитируешь, а гнилую шпану и агитировать не стоит! – изрек, разрешая их, зам. нач. управления лагерями Эйхманс.

Думается, что этой фразой он не только прикрывал свое личное желание видеть полноценные, интересные спектакли (театр он любил), но и выражал взгляды коллегии ОГПУ, смотревшей тогда на этот первый концлагерь только как на свалку недобитых буржуев, последней...

Тенденция эксплуатации труда заключенных зародилась позже – в 1926–27 годах. Тогда же, до 1926 года, значительно большая, по сравнению с материком, свобода предоставлялась и выходявшему несколько позже «толстому» ежемесяčníку «Соловецкие острова», в котором шли далеко не «созвучные эпохе» воспоминания последнего царского резидента в Хиве генерала Зайцева, очерки сменовеховца Н. К. Литвина, бывшего ростовского журналиста, рассказы и повести Б. Глубовского, автора этих строк и др.

* * *

М. С. Борин, как опытный старый актер, строил репертуар прежде всего на самом себе. Аркашка Счастливец, Расплюев, Шмага, Фердыщенко из запрещенной тогда на материке сценической переработки «Идиота»... Все классические образы русского комического жанра прошли в его исполнении перед глазами соловецких зрителей. Репертуар он строил на наиболее ходких пьесах предреволюционной русской драматургии. Шли «Дети Ванюшина», «На дне», из иностранных «Потоп», «Коварство и любовь», «Сверчок на печи»... Очень жидкую «революционную» часть репертуара составляли «Поджигатели» Луначарского, «Рабочая слободка» Е. Карпова, шумевший тогда в театре Мейерхольда «Мандат».

О грубой агитке, заполнявшей уже сцену РСФСР, на Соловках не было и помина.

Сценическая культура и техника соловецкого театра того времени стояла на такой ступени, что несколько позже, когда актеры были освобождены от общих работ, он мог ставить по две премьеры в месяц. Раз даже была поставлена оперетта «Тайны гарема» с оркестром, хором и балетом, причем «танец негритят» исполняли... дети комсостава Соловецкого особого полка, обученные артистом балета – каторжником Шелковниковым.

Странные, полные контрастов отношения были между тюремщиками и каторжниками в спутанные, неустоявшиеся годы взвихренной Руси. Конвой охраны вечером с жаром, до самозабвения аплодировал тем, кого наутро мог пристрелить или заморозить в лесной глуши.

Автор этих строк играл в скетче своего сочинения, являясь на спектакль и репетиции непосредственно из строгого карцера, куда он попал за неумеренный протест против несправедливостей надсмотрщиков, штат которых был сформирован из грузин-меньшевиков, участников восстания 1923 года.

Кто же играл на соловецкой сцене?

Те, кто ее любил. Те, для кого она была не средством переключиться на более легкую работу, но возможностью развернуть свою, порою неосознанную, потребность творчества.

Почти целый год актеры репетировали и выступали после выполнения ими тяжелого урока в лесу. Более того, в день спектакля они старались возможно раньше выполнить норму, чтобы успеть до начала его привести себя в порядок, побриться (это было нелегко, иметь бритвы при себе не разрешалось), выпросить у приятелей недостающие принадлежности костюма, повторить роль или немного отдохнуть...

Эта тяжесть работы на сцене создала естественный отбор, который определил ядро труппы. Оно было очень пестро и по социальному составу и по уровню общей культуры. Вместе с изящным сенатским чиновником, питомцем лицея и учеником Варламова Кондратьевым выступал полуграмотный казак-бандит Алексей Чекмаза, рядом с древней рыцарской фамилией правоведа барона фон Фицтума стояла блатная кличка Семки Пчелки, вора-рецидивиста, который и сам после многих перемен своей бурной жизни, вероятно, позабыл свое подлинное имя. Актеры-профессионалы: Глубоковский из Камерного, Красовский из второго МХАТ и др. не выделялись, но сливались с остальными.

Среди актрис профессиональных совсем не было, но и здесь наблюдалась такая же пестрота: кавалерственная дама, смолянка, вдова командира одного из гвардейских полков Гольдгоер выступала вместе с портовой притонодержательницей Кораблихой, волею судеб попавшей на Соловки вместе с мятежными кронштадскими матросами. На Соловках в ней обнаружился яркий талант амплуа комических старух.

Параллельно со сценой развивалась и концертная эстрада. Не говоря о многих певцах, скрипачах и пианистах, к 1926 году были созданы приличный духовой и симфонический оркестры. Девять десятых программы занимала серьезная музыка. Здесь, как и на сцене, можно было слышать то, что не допускалось за пределами лагеря: запрещенного «белобандита» Рахманинова, «Чуют правду» в исполнении дантиста-шпиона Ганса Милованова, обладавшего сверхмощным, но абсолютно не обработанным басом, повергавшим шпану в мистический ужас.

Театр был первым зерном культуры на Соловецкой каторге. Он вызвал своеобразные и единственно возможные там проявления.

Глава 7

Зарницы с Запада

Из взбаламученного моря отвергшей свое имя России на Соловки летели брызги каждой вздымавшейся там волны. Случайно спасшиеся от расстрела на фронте пленные деникинцы и колчаковцы, участники офицерских заговоров и восстаний, кронштадтские матросы, крестьяне-повстанцы средней России, повстанцы-грузины, Ферганские и Туркменские басмачи... Потом – причастные на самом деле или припутанные, «пришитые», как говорили на Соловках, к громким «показательным» процессам: церковники-тихоновцы, федоровцы, баптисты и даже несколько масонов, а вместе с ними и хлопья пены уже вошедшего в полную силу НЭПа: валютчики черной биржи, растратчики, преимущественно из коммунистов (беспартийные шли в суд), первые «хозяйственники» – незадачливые дельцы советской торговли, а вместе с ними захваченные в облавах проститутки и торговцы кокаином. Пестры были толпы сходивших на соловецкий берег с парохода «Глеб Бокий».

Далекий, но не замкнутый еще тогда «железным занавесом» свободный зарубежный Запад тоже бросал свои блики на эти серые волны прибывающих на каторжный остров «пополнений». На Соловках эти отблески европейской жизни преломлялись гротескно, порою уродливо: в аспекте тех сумбурных, бродивших, как сусло, лет.

Наиболее ярким из этих отблесков были, пожалуй, «русские фашисты» и «фокстротисты», а самой выпуклой, блестящей фигурой первой из этих групп был характерный представитель московской предреволюционной богемы артист Камерного театра, журналист и, несомненно, талантливый, хотя так и не успевший развернуться, беллетрист Борис Александрович Глубоковский⁷.

Искристая и разнообразная талантливость так и сверкала во всем, за что он только ни брался. Блестяще окончив Московский университет, Глубоковский имел полную возможность быть оставленным при нем и обеспечить себе научную карьеру; он мог также, избрав адвокатуру, стать помощником видного присяжного поверенного, кажется, Ледницкого (позже первого посланника Польши в СССР). Речью он владел превосходно, а темперамент и глубокий, раскатистый «львиный» голос делали его не только увлекательным, но огненным, умевшим захватить слушателей оратором. Но Глубоковский метнулся к театру. Таиров охотно принял его в свой стоявший тогда в зените славы Камерный театр и начал выдвигать, давая столь значительные роли, как, например, Тигиллин в «Саломее» Уайльда. Удачно шла и журналистика, которая тоже влекла Глубоковского. Позже некоторые его рассказы проникли даже в зарубежное «Накануне».

Но Глубоковский был столь же беспутен, сколь и талантлив. Беспутен почти в буквальном значении этого слова: поехав, например, с Камерным театром в турне по Европе в начале двадцатых годов, он ухитрился «потерять» его в Берлине, а сам очутился в Мадриде, откуда его доставил к месту службы советский полпред. Это путешествие по Европе косвенно послужило ему путевкой на Соловки.

В то время, в первые годы НЭПа, в Москве имел большой успех ночной артистический кабачок «Бродячая собака», открытый широко известным в богемных кругах ловким предпринимателем Борисом Прониным⁸.

⁷ Все имена и фамилии, приведенные в этой главе, точны. Я не боюсь этого делать, т. к. подавляющее большинство этих лиц уже мертвы. Повредить им я не могу. – Б. Ш.

⁸ Подробнее о колоритной для того времени фигуре Бориса Пронина, оказавшегося агентом ЧК, читатель может узнать из очерка о нем, данного Г. Ивановым в его интересной книге «Петербургские зимы», изд. им. Чехова. – Б. Ш.

В этом подвале на Кисловке после двух часов ночи можно было видеть многих известных артистов и литераторов, там шумел Есенин, всегда сопровождаемый более чем сомнительной компанией, порою маячила одутловатая маска только что вернувшегося из эмиграции и еще нащупывавшего почву А. Н. Толстого. Забрёдал туда и Луначарский в окружении своих «цыпочек» с Н. И. Сац в роли дуэньи. Артисты мешались с коммунистами и нэпачами, не обходилось, конечно, и без агентов ОГПУ – получавших в «Бродячей собаке» широкие возможности подслушать вольные спьяну разговоры.

Скрипки оркестра надрывно тянули:

Все то, что было,
Все то, что ныло,
Все давным-давно уплыло...

В уборной открыто торговали кокаином, на полу валялись окурки толстых «Посольских» папирос, густо измазанные кармином губной помады; приехавший из Парижа поэт Борис Парнок танцевал тогдашнюю новинку монмартрских кабачков – фокстрот и формировал в театре Мейерхольда первый в Москве джаз...

В этой-то болезненно-удушливой атмосфере и родился характерный для тех безвременных, сумбурных лет «Союз русских фашистов».

Назвать этот «союз» в какой-либо мере политической партией или хотя бы заговором было бы только смешно. Период офицерских подпольных организаций к тому времени уже закончился, утопив себя в крови, пролитой в подвалах ГПУ. Крестьянское сопротивление коммунизму было парализовано иллюзиями НЭПа, но порывы к борьбе продолжали вспыхивать, порою в самых неожиданных и даже нелепых формах. Одной из таких был «русский фашизм», зародившийся из отзвуков на скудные сообщения советской прессы о победе Муссолини над коммунизмом.

Идеологии итальянского фашизма никто из «русских фашистов» не знал даже в общих чертах, однако, организации того же типа возникали и в Москве, и в Киеве, и в Харькове, и в Одессе. Их брызги долетали до Соловков.

Психологической основой этих организаций был протест первых ощутивших разочарование в революции и неосознанная еще ими тоска по разрушенной и поверженной русской культуре, звучавшая даже в поднятых тогда на щит, а позже запрещенных новеллах Бабеля. Думается, что именно он и некоторые замолкшие теперь поэты были выразителями настроений этих разочаровавшихся бунтарей.

Несколько молодых поэтов из числа многих, заполнявших тогда эстрады «Домино» и «Стойла Пегаса»⁹, столь же молодых журналистов и актеров, полных неперебродившей еще революционной романтики, распаленных вином и кокаином, вошли в эту группу. Число ее членов не превышало 20–30 человек. Какой-либо оформленной программы не было. Конспирация была детски-наивной. Собрания «союза русских фашистов» происходили главным образом в подвале «Бродячей собаки», и на одном из них после обильных возлияний стали «распределять портфели будущего фашистского правительства». Кандидата, достойного занять пост министра иностранных дел, не нашлось, и портфель был предложен сидевшему за соседним столиком, уже много выпившему Глубоковскому, как только что вернувшемуся из-за границы и «осведомленному в вопросах международной политики».

⁹ Два московских «кафе поэтов» того времени, в которых собирались и читали свои произведения представители многочисленных тогда поэтических течений: имажинистов, акмеистов, этернистов, ничевоков и пр. Тоже характерное для тех лет явление. – Б. Ш.

Вся эта история была бы только глупым и смешным анекдотом, если бы не окончилась расстрелом одиннадцати и ссылкой нескольких десятков человек. Все они были молоды и многие из них – талантливы.

Глубоковский получил десять лет концлагеря. Остальные «члены правительства» погибли. Он же, отбыв срок, вернулся в Москву для того, чтобы там умереть, отравившись морфием. Случайно или намеренно – я не знаю.

Попав на Соловки, Глубоковский быстро выделился из общей массы. Уже окрепший к этому времени театр испытывал острую нужду в актере именно его жанра, в «герое». После первого же дебюта в роли Рогожина (сценическая переработка «Идиота» Достоевского) Глубоковский был освобожден от общих работ и закреплен за ВПЧ в качестве актера и лектора.

Лектором он был интересным, даже захватывающим, но своеобразным: его мозг прекрасно работал в аналитическом и критическом направлениях, но был абсолютно бессилён при синтезе и еще более – в области конструктивной, созидательной работы мысли. «Разделять под орех» было его специальностью и «разделявал» он смело, ярко и забористо кого угодно и что угодно.

Носил ли он в себе какой-либо идейный костяк или хотя бы определенные непоколебимые, идейные устремления? Я знал его близко и смело говорю – нет.

Никаких. Он был только кислотой, быть может, даже ржавчиной, разъедающей все, чего он касался. Эта характерная для него черта была созвучна первым симптомам спадания волны революционного пафоса, разочарования в революции, вылившаяся позже в горькую ходкую формулу:

– За что боролись?

Еще меньше идейного содержания несла в себе вторая группа соловецких «западников», прозванная «фокстротистами». Ее составляли молодые люди, в большинстве из средней московской интеллигенции, виновные лишь в том, что хотели, по праву своего возраста, веселиться. В Москве они собирались на уцелевших еще кое у кого больших квартирах, чаще всего у расстрелянного позже и по другому делу крупного железнодорожного деятеля фон-Мекк и танцевали только что входивший в моду фокстрот. Их «дансинги» были сочтены заговором, хотя «фокстротисты», по крайней мере подавляющее большинство их, были до смешного безграмотны в политике и абсолютно чужды ей.

Но среди них были прекрасные пианисты Б. Фроловский и Н. Радко, ученик Игумнова, был недурной эстрадный танцор Н. Рубинштейн, умерший на Соловках от туберкулеза, акробатический танцор школы Форренгера Н. Корнилов, поэт Б. Емельянов, блестящий версификатор, выступавший в московских нэпических кабаре с мгновенными экспромтами на заданные публикой темы, талантливый младший режиссер второго МХАТ Н. Красовский. К ним примыкал также осужденный по другому делу и иной по своему внутреннему укладу, серьезный и глубокий поэт Н. Бернер, один из немногих уцелевших с тех времен и вырвавшихся в волне второй эмиграции, ныне здравствующий и печатающийся в газетах Зарубежья под псевдонимом Божидар. Это была талантливая молодежь.

«Фокстротисты» были тоже богемой, но иного типа, чем та, из среды которой вышел Глубоковский. До революции они были благовоспитанными мальчиками «из хороших семей». Ее шквал разметал уюта их быта. Отцы лавировали между подвалами ГПУ и местом спеца при каком-нибудь Наркомате, матери продавали на Сухаревке ставший ненужным балластом фарфор и хрусталь из распиленных на дрова буфетов, а сами они, полностью чуждые революции, слепо тянулись к маячившим где-то «огням Бродвея» и жадно ловили долетающие оттуда обрывки шумов свободной жизни, без очередей, уплотнений, обысков, полуголада...

Подушки смятые, подушки алые,

Духи Коти, коньяк Мартель.
Твои глаза всегда усталые
И губы, пьяные, как хмель...

Так звучал их гимн. Мало ли было таких тогда?

Изредка в сходящейся с парохода толпе «пополнений» мелькали сменовеховцы, больно ушибшиеся о Запад и оттолкнувшиеся от него. Таким был Н. К. Литвин, журналист, до революции сотрудник крупных либеральных ростовских газет, потом эмигрант с Графской пристани, прошедший через Галлиполи и блуждания по Балканам с какой-то импровизированной эстрадной труппой. Оттуда – в Берлин. Волна послевоенного шиберства не захлестнула, не вовлекла в себя нежную лирическую душу Н. К. Литвина, он стал чужим и одиноким даже в среде эмиграции, подобно многим, сходным с ним натурам например, Огневцеву. Молчаливо, застенчиво улыбаясь, садился он в уголке той кельи, где собиралась по вечерам шумная компания «неунывающих соловчан», и слушал ее споры, не вступая в них сам, смотрел со стороны на мелькавшую перед его глазами сутолоку, не вращаясь, не вживаясь в нее. Таким он ушел с Соловков в Сибирь, куда ему дали дополнительный срок. Много позже, увидев мою подпись в какой-то газете, он прислал мне письмо с Енисея, где работал поваром артели рыболовов, и там также был чужим, также смотрел со стороны, не вливаясь в течение жизни, пока смерть не унесла его из нее.

Но и шиберство Запада брызнуло на Соловки несколькими своими каплями. Одной из них был Миша Егоров, по кличке «Парижанин».

Я увидел его впервые в общей камере Бутырской тюрьмы, куда Миша был доставлен... непосредственно из Парижа.

Хлопнула дверь, и, как всегда, все воззрились на «новенького».

Было на что посмотреть! Перед нами стоял великолепно одетый молодой человек, державший в одной руке залепленный яркими рекламами отелей желтый заграничный кофр, а в другой – огромную голубую бомбоньерку. За ту же руку была элегантно зацеплена трость, а с плеча ниспадало шикарное, длинное по тогдашней моде, полосатое шелковое кашне. Пораженная этим необычайным для Бутырок явлением, камера смолкла. Прибывший несколько удивленно обвел нас глазами, протянул: «Н-да-а-а...» – и вдруг широко улыбнулся:

– Бонжур, честная компания!

Через час мы все уже знали трагикомическую эпопею Миши. Его отец был довольно известным московским средней руки купцом, что не помешало сыну стать уже в семнадцатом году коммунистом. После Октября он, как знакомый с коммерцией, был направлен в Париж в Торгпредство. Там...

– Пожил, ребятки! И хорошо, чорт возьми, пожил! – мечтательно улыбаясь, рассказывал Миша. – Париж, это, знаете ли... Не Хамовники!

Парижская жизнь Миши была оборвана срочным вызовом в Москву. Миша поехал, полный, как всегда, самого радужного оптимизма, прихватив даже огромную коробку дорогих конфет для дамы своего сердца. Так, вместе с этой коробкой, и желтыми кофрами, полными модных новинок, он и угодил в Бутырки, будучи арестованным при выходе из вагона экспресса Париж-Москва.

Что именно послужило причиной краха карьеры Миши – знакомство ли с парижскими эмигрантами, с которыми он весело покучивал в монмартрских кабачках, или слишком свободное обращение с подотчетными суммами торгпредства – установить не удалось, но приобретенный в Париже шарм не покидал его даже на Соловках. Там Миша быстро устроился на какую-то легкую работу и разгуливал по монастырским дворам с тою же тростью, в том же шелковом кашне и надетой набекрень фетровой шляпе...

Эти, казалось бы, столь различные люди (что общего могло быть между бежавшим от шибберства тихим лириком Литвиным и нашедшим в том же шибберстве свою стихию Мишей?) слились на Соловках в тесный, дружный кружок.

Что их сближало и роднило?

Теперь, взглядываясь в минувшее, я улавливаю стимулы этого сближения. Один из них можно назвать бездомностью, неумением найти свое место в новых, еще не выкристаллизовавшихся формах изломанной жизни. Другой – поиск этого места, неразрывная с молодостью жажда самопроявления и самоутверждения. Первый рождался из необорванных связей с ушедшим. Второй – из стремления влиться в современное, в будущее, из того, чего не было у старшего поколения, целиком отмежевывавшегося и от настоящего и от будущего перетрянутой сверху донизу России. Сочетание этих двух противоречивых друг другу начал сближало их носителей между собой и одновременно отталкивало их от целиком ушедших в свое прошлое и полностью отвергавших настоящее, заброшенных на Соловки «бывших людей».

Этим группам соловецкой интеллигентной молодежи предстояло вовлечь сюда и другие, сходные с ними по психике элементы и оформиться в том, что носило на Соловках имя «ХЛАМ».

Глава 8 «ХЛАМ»

Дело происходило зимним вечером 1924 года в «Индийской гробнице» – камере чистокровного индуса Набу-Корейши, где он иногда угощал нас после спектакля настоящим черным кофе с сахаром и печеньем – редкостным лакомством на Соловках. Корейша, сидевший на Соловках «за шпионаж», был представителем большой индийской фирмы, торговавшей джутом, и получал от нее крупные суммы в иностранной валюте. На руки ему этих денег не давали, но он мог закупать на них что ему угодно и сколько ему угодно в закрытом кооперативе НКВД. Это богатство давало ему не только освобождение от работ, но даже отдельную теплую и светлую келью. В ней-то, носившей у нас имя боевика экрана того времени – «Индийской гробницы», мы и обсуждали в тот вечер только что оконченный спектакль.

– Все это рутина, старье, заваль, – ораторствовал Миша Егоров, – нужно искать новых форм.

– Борин, что ли, на седьмом десятке лет жизни будет тебе их искать? – пренебрежительно бросил Глубоковский. – Таиров с Мейерхольдом пока еще не нашли и к нам сюда не доставили.

– Можно и без Таирова обойтись... самим... – изрек Миша.

– Кому это самим? Ты, что ли, поведешь к новым формам?

– Почему обязательно я? Сколько вас здесь: поэты, литераторы, артисты, музыканты...

Создадим коллектив, организацию и начнем!

– А кто это разрешит тебе организацию?

– Разрешат, – уверенно заявил Миша. – Коган, безусловно, поддержит, Неверов под его дудку пляшет, а Васьков балда, что ему Коган подскажет по культурной части, то и будет. Берусь устроить! – заорал он.

Его практическая купеческая сметка не терпела отвлеченности и тотчас же отыскивала для нее реальные формы.

– Все хлопоты на себя беру! Ручаюсь! Сделаю! Темперамент Миши хлестал из него бурным фонтаном и захватывал нас.

– А почему бы нет? Театр малых форм, но не по текстам «Синей блузы», а наш, соловецкий? – поддержал Егорова Акарский, деникинский офицер, в прошлом тоже близкий к московской богеме. – Литвин, Глубоковский, Ширяев подработают тексты, Глубоковский и Красовский – режиссура, а исполнителей всех видов актеров, певцов, танцоров и музыкантов – на Соловках хватит! Будет успех – новые к нам потянутся, да и «пополнения» с каждым парходом прибывают... Дерзнем!

– А как окрестим это дело? Название очень важно: попадем в тон начальству – разрешат, промахнемся – могила и черный гроб.

– Организация пролетарских...

– К чорту пролетарских!

– Цех...

– К дьяволам все цехи! Ты еще скажи худ-рабсила! Идиот!

– ХЛАМ! – неожиданно выпалил нескладный, длинный, как жердь, и вечно попадающий в нелепые положения поэт Борис Емельянов, восхищавший шпану своим черным плащом-крылаткой, в котором он разгуливал по Соловкам и летом и зимой, – ХЛАМ, – уныло, но твердо повторил он.

– Ты, что, окончательно сдурел? – уставился на него Мишка Егоров. – Мочевой пузырь в голову переместился?

– Ты дурак, а не я, – спокойно и так же уныло отозвался Емельянов, – художники, литераторы, актеры, музыканты; начальные буквы х, л, а, м. То есть, ХЛАМ.

Все застыли, как в финале «Ревизора».

– В точку! – завопил первым Мишка. – Что надо! Под таким названием не артистическую, а контрреволюционную организацию можно у Васькова провести! Ее двусмысленность всем понравится! Кончено – ХЛАМ – и никаких гаек!

Так в «Индийской гробнице» Набу-Корейши, коммерческого представителя Бомбейской фирмы, присужденного к Соловкам за «шпионаж», родился если не самый яркий, то, во всяком случае, самый искренний и откровенный сценический выразитель настроений тех сумбурных лет, когда обрывки ушедшего сплетались с неясными, тонкими нитями, ведущими к туманному, неясному будущему русской культуры. Он родился на Соловецкой каторге, потому что именно там, в те годы было больше внутренней свободы, чем на материке, потому что там еще светила бледным пламенем Неугасимая Лампада Духа. Только там в охватившей Россию тьме безвременных лет.

* * *

Добиться разрешения на спектакль под маркой «свободного «ХЛАМА», а не воспитательно-просветительной части было довольно трудно, но удалось, как и рассчитывал Миша Егоров, при помощи сочувствовавшего всем новым начинаниям партийца-интеллигента Когана. Все работали дружно, дополняя один другого. Никаких «целей» не ставили и «программ» не составляли. Каждый участник ХЛАМа действовал свободно, задумывая, разрабатывая и осуществляя задуманное.

Когда программа первого вечера определилась достаточно ясно и литературные тексты были готовы, выяснилось, что удельный вес злободневной соловецкой тематики значительно превышал остальные разделы программы вечера и некоторые фразы звучали слишком смело. Кое-кто приуныл.

– Прихлопнет Васьков наш ХЛАМ еще до его рождения. Перехватили ребята. Надо потише, поосторожнее... – слышались голоса робких.

Но неробкие упорствовали.

– В этом-то и сила! Увидите, что как раз это понравится. Ведь им самим надоела агитационная жвачка. Только бы цензуру Васькова проскочить. Он по глупости может зарезать.

Начальник адм. части Васьков был действительно редкостным болваном и тупицей, но, к счастью, для него самого вообще, а для ХЛАМа в тот момент, он сам отчасти признавал свое тупоумие и маскировал его, чутьем подбирая себе дельных помощников и перекладывая на них работу. По идеологической и пропагандной части он слепо верился умному, широко и глубоко эрудированному Когану и поэтому, не читая, подписал представленную им программу ХЛАМа.

Миша Егоров угадал и то, что соловчане разом, еще до появления ХЛАМа на сцене театра, отнесутся к нему сочувственно именно потому, что он был «свободным», формировался по инициативе и силами самих каторжан, а не воспитательно-просветительной части и был подчинен ей лишь формально, вследствие мягкотелости нач. ВПЧ, с одной стороны, и крепкой поддержки Д. Я. Когана – с другой.

К ХЛАМу потянулись уже выявившие себя сценические силы и новые, проявлявшиеся порой там, где их совсем нельзя было ожидать, например, уже в пожилой кавалерственной даме, жене командира одного из блестящих гвардейских полков, не имевшей ничего общего с ядром ХЛАМа – московской богемой. Эта генеральша Гольдгойер на шестом десятке лет обнаружила в себе яркие и своеобразные сценические способности. Вместе с нею вступили в ХЛАМ прекрасно танцевавшая столбовая дворянка-помещица Хомутова-Гамильтон,

«лэди», как звали ее на Соловках, и именитая московская купчиха, «чайница» Высоцкая. Они вполне ужились в атмосфере ХЛАМа и с молодежью, и с типичными профессиональными актерами, каким был, например, эстрадный куплетист-еврей Жорж Леон.

Вся эта пестрая, разноликая, разнохарактерная толпа была спаяна и крепко связана общим цементом – тоской по отнятым у жизни красочности и звучности, стремлением к личному, свободному, поскольку это возможно, творчеству, и странно, что эту максимальную из возможных по тому времени свобод мы находили именно на каторжном острове, на свалке, казалось, разбитой вдребезги русской культуры. Но на всей остальной площади Советского Союза это было уже невозможно. Там рожденное революцией «сегодня» уже заполнило пустоту, образовавшуюся на месте отброшенного, попорченного «вчера».

* * *

Наконец, вечер первого спектакля ХЛАМа настал.

Первым номером шла инсценировка популярного тогда романа «Шумит ночной Марсель». Ее героем был апаш, а действие разворачивалось под надрывные звуки танго, в портовой таверне, «где негр-слуга смыывает с пола кровь»...

Дешевая романтика темы была легко воспринята залом, и шпана дружно зааплодировала своему «героическому» западному собрату при первом его появлении.

Героя-апаша играл изящный белогвардеец Евреинов, артистически танцевавший танго – стержень действия пьесы, – а его партнершей, загадочной «в перчатках черных дамой» – обученная им этому танцу... свояченица командира, охранявшего нас Соловецкого Особого полка!

Трудно верится теперь таким воспоминаниям. Но эта, очень красивая и, как оказалось, талантливая девушка стала потом яркой «хламисткой», засиживавшейся на репетициях до поздней ночи и разделявшей все горести и радости «хламистов»-каторжан, хотя сама она была свободной. Сам командир полка Петров не протестовал против ее общения с заключенными. Наоборот, он даже поощрял посещение ею ХЛАМа, где она воспринимала манеры и шарм от каторжанок-аристократок.

Другим появившимся вместе с ней на сцене ХЛАМа монстром был пожилой морской офицер, капитан первого ранга князь О-ский. Он, к сожалению, был абсолютно бесталанен, и лишь снисходя к его упорным, чуть не слезным мольбам, ему дали статическую роль того негра, который, по словам романа, «по утрам стирает с пола кровь» в портовом притоне. Князь вполне удовлетворился ею, густо вымазал сажей свое лицо и досаждал всем одним и тем же вопросом:

– Типичный готтентот, неправда ли? Характерное негритянское лицо! Я видел точь-в-точь таких же на Мадагаскаре... А?

Но вот занавес поднят. Ведущий певец, под аккомпанемент гитар и мандолин, струит в зал сладостно-тягучие строфы:

Шумит ночной Марсель.
В притоне «Трех бродяг»,
Там пьют матросы эль
И женщины жуют табак...

Недоступное, недостижимое даже для мечты встает явья перед глазами, становится реальным, осязаемым... Огни рампы творят свое дивное таинство...

В перчатках черных дама

Вошла в притон и смело
Там негру приказала
Подать вина...

Нет, это входит уже не свояченица командира СОП и не изображающий блистательного «незнакомца» Мишка Егоров в извлеченном из чемодана умопомрачительном, яростноклетчатом жакете. Не вымазанный сажей князь О-ский ставит перед ними оплетенную соломой фиаску. Это...

Что это?

– Романтика папиросных реклам, – пренебрежительно процедил о постановке «Марселя» Глубоковский, и тогда я не возражал ему. Но теперь, оглядываясь на пройденную вереницу лет серой советской обезлички, истомленный нудной жвачкой затасканных слов, бескрасочностью, беззвучием расплывшейся на всю Россию социалистической каторги-казармы, я понимаю, почему в зрительном зале соловецкого театра тогда стало тише, чем

В притоне «Трех бродяг»
Стало тихо в первый раз,
И никто не мог никак
Оторвать от дамы глаз.

Теперь я с глубокой благодарностью и хвалой вспоминаю тех, кто тогда захватил, сумел и смог показать соловецким каторжанам «музу дальних странствий», хотя бы и в аляповатом наряде «папиросной рекламы»!

Пусть так. Свое высокоодаренному поэту Гумилеву, но свое и неизвестному, безымянному бродяге. Они оба имели право на жизнь и радость.

Следующим номером шел мой сатирический скэтч, заостренный против нашей «рабсилы» – надсмотрщиков из числа заключенных, в большинстве из грузин-повстанцев. Это был уже рискованный номер. Он начинался сценическим трюком: загримированные грузинами актеры, размахивая дрынами, врывались на сцену через зрительный зал и начинали загонять актеров-исполнителей на очередной ударник.

Трюк был настолько близок к соловецкой действительности, что публика приняла его всерьез. Кое-кто из шпаны побежал прятаться, а сам Эйхманс, встав с места, возмущенно закричал:

– Кто разрешил ударник? Убрать рабсилу к чёрту!

После этого, услышанного всем залом, восклицания владыки острова осмелевшие актеры, под сочувственный рокот зала, стали с удвоенной силой метать отравленные стрелы сатиры в ненавистных, продавшихся отщепенцев, заклеянных кличкой «ссученные»¹⁰.

Но самый рискованный момент был еще впереди. Почти в конце программы шла коротенькая веселая пьеска с пением и танцами «Любовь – книга золотая», автором которой был Н. К. Литвин.

Надо пояснить, что любовь во всех ее видах была преследуема и гонима на Соловках, и уличенному в этом преступлении Ромео полагалось не менее трех месяцев Секирки, а Джульетте – столько же «Зайчиков». И все же «золотая книга» – вечная книга читалась.

Специальным и утвержденным свыше гонителем любви в соловецком кремле, ее Торквемадой и неутомимым охотником на Ромео и Джульетт был ссыльный чекист Райва, одевавшийся всегда в длинную кавалерийскую шинель и носивший на голове неимоверно

¹⁰ Слово «ссученный», на жаргоне каторги – подхалим, продажная душа – происходит от слова сука. Ссучиться – стать сукой. – Б. Ш.

грязную белую кавалергардскую фуражку. Его фигура была известна всем, и пьеска Литвина заканчивалась именно ее внезапным появлением и паническим бегством застигнутых любовников.

Сам Райва сидел в первом ряду и с большим удовольствием смотрел программу.

Вдруг его точный двойник в неизменной кавалергардской фуражке выскочил на сцену и обратил в бегство слившихся в поцелуе счастливых.

– Райва! – в диком восторге взывала шпана.

Подлинный Райва инстинктивно схватился за голову... На ней была на этот раз не традиционная фуражка, а надетая второпях перед спектаклем меховая ушанка.

Но на него уже, смеясь, смотрел весь первый ряд: и защитница соловецкой любви нач. санчасти М. В. Фельдман, жена члена коллегии ОГПУ, сосланная им самим на остров именно для охлаждения ее бурного темперамента, и грубый, но прямодушный Баринов, и сам Эйхманс.

К чести Райвы нужно сказать, что в дальнейшем он не мстил за «критику» и, получая обратно выкраденную у него перед самым спектаклем фуражку, лишь буркнул:

– В другой раз не сопнете. Спать в ней теперь буду. Но воровать ее не пришлось ни вторично, ни третично: на повторные спектакли ХЛАМа Райва давал ее сам и, сидя в первом ряду, неизменно аплодировал своему сценическому двойнику.

– Ишь, с... дети, чего понастроили!

Совсем не так отнеслись к сатире на них надсмотрщики рабсилы. Они подали Эйхмансу официальное заявление, обвиняя автора скэтча в подрыве их служебного авторитета, и требовали строгого его наказания и запрещения пьесы. Эйхманс порвал этот рапорт. Тогда они начали систематическую травлю меня и изображавших их на сцене актеров, назначая нас на самые тяжелые работы. Эта травля была прекращена тем же Эйхмансом, которому Коган доложил об их действиях.

Первый спектакль ХЛАМа имел бурный успех и в верхах и в низах Соловков, главным образом потому, что в нем ощущалось робкое, едва заметное, но все же дыхание свободы, а тосковали по ней не только каторжники, но подсознательно и их тюремщики. Кроме того, он воплощал в огнях ramпы ту затаенную мечту, в которой признаться даже самому себе было бы постыдным ребячеством – мечту о «дальних странствиях».

Первая программа ХЛАМа была повторена три раза, и его руководителям был тут же заказан специальный спектакль для ожидавшейся «разгрузочной комиссии» из Москвы во главе с начальником всех лагерей, членом коллегии ОГПУ Глебом Бокием.

– Можно и перцу подсыпать? – спросил в упор Эйхманса Глубоковский, получая заказ.

– Валите, не стесняйтесь, – ответил тот, – только чтобы было ярко и остроумно.

Весть об этом взбудоражила всех хламистов.

– Как? Свободно? Так что можно будет и правду сказать?

Скептики каркали:

– Ляпните эту правду и срок себе прибавите. Но горячие головы не робели.

– Чорт с ним, со сроком, зато...

Мудрый, знавший людскую душу и душу зрителя старик Борин одобрял:

– Можно. Генералы любят больше всего анекдоты именно о самих генералах. Ничего нет нового под Луной. Валите!

И вот день этого самого торжественного и значительного в жизни ХЛАМа спектакля настал. Первый ряд занимали приезжие во главе с Глебом Бокием, прибывшим на пароходе, носившем его имя взамен монастырского «Святой Савватий».

Занавес раздвинулся. На сцене вся труппа, приветствующая гостей. К ramпе выходит куплетист Жорж Леон во фраке и с хризантемой в петлице. Он по-эстраднему кланяется Бокию.

Шептали все... Но кто мог верить?
Казался всем тот слух нелеп:
Нас разгружать сюда приедет
На «Глебе Боком» – Бокий Глеб, —

звучит первый куплет приветствующей «разгрузку» песни.
Хор подхватывает рефрен:

Всех, кто наградил нас Соловками,
Просим: приезжайте сюда сами,
Проживите здесь годочка три иль пять,
– Будете с восторгом вспоминать!

Далее солист жалуется на свой врожденный пессимизм и заканчивает свое приветствие словами:

В волнении все, но я спокоен.
Весь шум мне кажется нелеп:
Уедет так же, как приехал,
На «Глебе Боком» – Бокий Глеб.

После вступительных куплетов, в которых пелось и знаменитом соловецком наказании «комариках» и о Секирке:

Хороши по весне комары,
Чудный вид от Секирной горы, —

шел скэтч «Губернатор Зеленого острова», добродушно-иронически, но остроумно и метко отражавший нравы администрации Соловецкой сатрапии и даже некоторые личные черты владыки острова Эйхманса.

Эти искры своей мелкой бытовой соловецкой правды, блеснувшие на спектакле ХЛАМа, не сыграли, конечно, никакой роли в общей жизни самой каторги. Все осталось, как было. Но они необычайно подняли престиж ХЛАМа среди зрителей, особенно их «низов».

– Не побоялись! Прямо ему в нос табаку пустили! Эта крошечная щепотка «табака» переживалась нами с корпоративной каторжной гордостью. Приезжие члены коллегии поняли это и учли при «разгрузке». Результаты ее были незначительны: были освобождены лишь двадцать-тридцать человек уголовников и хозяйственников, а двум-трем сотням уменьшены сроки. Но в числе этих последних были руководитель ХЛАМа Б. Глубоковский (с десяти на восемь лет) и куплетист Жорж Леон (с трех на два года). ХЛАМ нес на себе печать нэпического ренессанса, и ее клеймо рельефно проступило при встрече нового 1926 года.

– Встреча нового года на каторге? – удивится читатель.

Да. Во-первых, календарь и на ней сохраняет свою, хотя и неполную силу. Каторжане тоже хотят дней веселья и радости, остро и напряженно их жаждут. А во-вторых, НЭП в это время был в своем полном расцвете.

«Обогащайтесь!» – воскликнул Бухарин, и многим показалось, что «построение социализма» уже растаяло пред лицом реальной жизни, отодвинуто ею на неопределенно дале-

кий срок. Те же, кто не доверял отступлению «всерьез и надолго», обещанному Лениным, те, захваченные общим потоком, танцевали на вулкане.

Свой собственный НЭП был и на Соловках, отражавших каждую вариацию жизни советского материка. Была открыта коммерческая столовая. В ней играл струнный квартет, и можно было прилично пообедать за пятьдесят копеек. Заведовал ею «Парижанин», Миша Егоров, и был очень ловким метрдотелем. По ночам в ней кутили СОП-овские командиры, вольнонаемные служащие и привилегированные ссыльные чекисты. Премьеры театра тоже стали платными и на них можно было сидеть рядом со своей дамой, а не отдельно с ней, как обычно. Присылаемые заключенным деньги на руки не выдавались, но были выпущены боны универмага, которые котировались наравне с деньгами. В универмаге было все, вплоть до шампанского и икры. У ссыльных валютчиков и хозяйственников деньги водились. Вот при такой «экономической базе» и соответствующем ей «духе времени» и была разрешена встреча нового года в театре, при условии необычайно высокой платы за вход – пять рублей. Ее организация была поручена тому же Мише Егорову, а декоративно-сценическая часть – ХЛАМу.

К этому времени новый, очень элегантный театральный зал был уже готов и над декорировкой его для встречи трудился тот же Коля Качалин, талантливый художник, по эскизам которого был оформлен сам зал. Он блеснул и здесь. Световые эффекты были то нежно мягки, то поражали своей неожиданностью.

Ни одного красного полотнища! Ни одного лозунга! Ни одного портрета «вождей»! Как не верится этому теперь.

Не было ни больших флагов и пошленьких гирлянд мелких флажков, ни возведенных тогда в культ декоративных механических фрагментов: шестерен, зубцов, рычагов... Тенденция конструктивизма была выражена в сочетании красок и геометрических формах.

Сцена была заполнена столиками, а в глубине блистала и искрилась хрустальная глыба льда. В ней шампанское, которое продавали самые изящные из обитательниц женбарака: высокая, с точеным профилем камеи Энгельгардт, блиставшая парижским (хотя и отсталым от моды) туалетом, чайница Высоцкая и кто-то из «бомонда»...

Зал был переполнен. Откуда-то появились приличные, даже хорошие костюмы. Стулья партера убраны, там – танцы, а на балконе – сооруженные тем же Качалиным футуристические киоски: огромные яркие зонты под ослепляющим прожектором. Это солнце, недостаток в котором так остро чувствовался на Соловках. Между зонтами – шедевр мастера сцены, старого, знавшего Шаляпина и даже побитого им (о чем вспоминалось с гордостью и умилением) театрального плотника и бутафора Головкина – пальмы диковинной породы, «совсем, как настоящие».

Снова иллюзия, реализация больной, сверлящей, сосущей мечты о невозможном, недостижимом, отнятом...

Для одних этот вечер был нирваной, временным погружением в прошлое, шагом назад, для других – тоже нирваной, но скачком вперед, в неизведанный мир блеска внешней материальной культуры. Кое-кто из шпаны тоже был на встрече нового года, но кто бы узнал на ней бандита Алешку Чекмазу или ширмача Ваньку Пана? Ступив в иную обстановку, они сами преобразились.

Буфет торговал вином, водкой, крюшоном с консервированными фруктами. Некоторые «буржуи» изрядно подпили, но ни одного скандала, ни даже резкого слова не было произнесено в этот вечер в зале театра на густо заматеренных Соловках.

Артисты выступали на сцене, между столиков. Там скользили нежные «китайские тени», горели при потушенном свете веселые разноцветные «светлячки», «фарфоровые кавалер и маркиза» танцевали жеманный старинный гавот... ХЛАМ дал в этот вечер все, что он мог, и трудно сказать, кто испытывал большую радость – зрители или артисты?

«Куранты» – гавот фарфоровых кукол танцевал я с проституткой-хипесницей Сонькой Глазком, гибкой и стройной, как танагрская статуэтка, под хрустальную россыпь Моцарта. Ставивший танец тонкий стилист, режиссер 2-го МХАТ Н. Красовский долго «обламывал» нас на репетициях и «вживал» в рисунок танца, но мы полностью «вжились» в него лишь на сцене. И теперь, через двадцать семь лет, вынимая тот вечер из глубины ларца памяти, я чувствую нежное прикосновение руки маркизы, сучившей пеньковые канаты, и подлинный (черт возьми!) аромат поданной мне ею бумажной (нет, настоящей, живой!) розы. В тот миг, только миг, я был кавалером де Грие, склонившимся к руке подлинной, реальной Манон Леско – каторжанки Соньки Глазок! Радость этого мига жива до сих пор...

Глава 9 «СВОИ»

Эмбрион свободы творчества – ХЛАМ встретил отзвук и в массах уголовников. Там был также создан сценический коллектив «Своих»¹¹.

Термин «свой» на блатном жаргоне определяет принадлежность к уголовному миру в отличие от «фрайера» – добропорядочного гражданина, объекта эксплуатации. В сознании уголовников он сливается с ощущением кастовой гордости. Эта психологическая черта русской шпаны очень недалеко от корпорантского мировоззрения «славного старого Гейдельберга». Ведь и там, за дубовыми столами трехсотлетних пивных, мир делился на «добрых буршей» и «филистеров».

Традиции рождаются в «верхах» и просачиваются в «низы» медленно, но верно. В них они продолжают жить, хотя и в гротескной уродливой форме. Поблекший в «верхах» образ Чайльд Гарольда встает в ином наряде под заунывный мотив «классической» песни беспризорников «Позабыт, позаброшен», а слова песни:

Отцовский дом спокинул я,
Травой зарастет...
Собачка верная моя
Завоет у ворот, —

почти точно повторяют стихи Байрона.

Организаторами «Своих» были бандит Алексей Чекмаза, взломщик Володя Бедрут и ширмач-карманник Иван Панин. Каждый из них был ярок, самобытен и колоритен.

Алексей Чекмаза был донским казаком. Германская, а за нею и гражданская война оторвали его от родного куреня, закружили, завихрили, и стал приказный Чекмаза заправским бандитом. Но «на деле» не попался, а был схвачен в облаве на «социально-вредных» и попал на Соловки. Стремление к личной, внутренней культуре жило и проявлялось в нем с большой силой. Он много и осмысленно читал, старался поговорить о прочитанном с интеллигентами, пытался и сам писать стихи, порою искренние, хотя и нескладные, неплохо исполнял в театре небольшие «рубашечные» роли... Организатором он был очень хорошим: дельным, чутким, в меру властным. Сказывалась учебная команда казачьего полка. Много позже я слышал, что по выходе из каторги он порвал с уголовщиной и стал заведующим большой фабричной столовой.

Совсем иным типом был Бедрут. Сын московского врача, окончивший одну из лучших частных гимназий, он вступил в годы безвременья, заразившись тлетворной «героикой» воров-джентльменов вроде леблановского Арсена Люпена, пришедшего на смену одряхлевшему Рокамболю. Современники этого последнего носили в себе те или иные моральные устои, ограждавшие их от его разлагающего влияния. Формировавшееся же в годы революционного распада сознание Бедрута не могло ничего противопоставить Арсену Люпену. Его путь был путем многих интеллигентных юношей того времени. Он привел Бедрута к Соловкам, где он занял место какого-то связующего звена между группами каэров и уголовников.

¹¹ Театр и коллективы ХЛАМа и «Своих» были атомами внутренней свободы в душах людей, уже взятых в железные тиски порабощения и размельчения личности системой социалистических концлагерей. Именно поэтому театр и запал так глубоко в память побывавших на Соловках в те и ближайшие к ним годы, о чем свидетельствует искренняя и яркая повесть Г. Андреева «Соловецкие острова» («Грани» № 8), в которой он отзывается о соловецком театре 1927 г. с особенной теплотой. – Б. Ш.

Он приходился «к месту» и среди «своих», где его специальность взломщика занимала высокую ступень в своеобразной кастовой иерархии, и среди контрреволюционной молодежи, причем сам он ни в какой мере не приноравливался ни к тем, ни к другим.

Он был не лишен способностей: легко писал грамотные, трафаретные по тому времени стишки и был очень неплох в глубинно ощутимых им ролях, например, в роли Незнамова.

Безусловно талантливым был третий – Иван Панин, распевавший на сцене песенки и куплеты своего сочинения, приспособленные к ходким мотивам. В этих песенках он чутко и остро реагировал на окружающее, гармонично чередовал добродушный юмор и злую сатиру, выполняя функции лагерного Зоила или «соловецкого Беранже». С цензурой он мало считался, дополняя проверенные тексты экспромтами и импровизациями. Иногда его сажали в карцер, но долго не держали, т. к. его сценический жанр был по нутру самим тюремщикам и главным постоянным его заступником был комсостав Соловецкого особого полка. Он совпадал с культурным уровнем командиров и их запросом к сцене.

– Ишь, с... с..., как продергивает! С песком чистит!

Успех Панина был неизменен, и даже в серьезно выдержанных концертах, после Чайковского и Бородина, комсостав СОП категорически требовал Панина, который был всегда тут же, под рукой, и всегда с обновленным репертуаром.

Он был «премьером» «Своих», но их действительным художественным достижением был прекрасный хор в сто пятьдесят человек, созданный и обученный бывшим регентом Императорского конвоя, глубоко музыкальным старым казаком. Этот хор и выделяемые им трио, квартеты и секстеты давали широкий и красочный репертуар русских народных, а также арестантских и каторжных песен.

ХЛАМ и «Свои» просуществовали до 1927 года. Окончательно оформившийся концлагерный социализм смел их со своего победного пути.

Слушая песни «Своих», Глубоковский и я заинтересовались «блатным» языком и своеобразным фольклором тюрьмы. Мы собрали довольно большой материал: воровские песни, тексты пьесок, изустно передававшихся и разыгрывавшихся в тюрьмах, «блатные» слова, несколько рожденных в уголовной среде легенд о знаменитостях этого мира. Некоторые песни были ярки и красочны. Вот одна из них:

Шли два уркагана
С одесского кичмана,¹²
С одесского кичмана на домой.
И только ступили
На тухлую малину,
Как их разразило грозой...
Товарищ, миляга,
Ширмач и бродяга, —
Один уркаган говорит, —
Судьбу свою я знаю,
Что в ящик я сыграю,
И очинно сердце болит...
Другой отвечает:
И он фарт свой знает,
Болят его раны на груди,

¹² Даю перевод «блатных» слов: «уркаган» – вор, «кичман» – тюрьма, «малина» – притон, «ширмач» – карманник, «сыграть в ящик» – умереть, «фарт» – удача, а также жребий, судьба, «бан» – вокзал, «малахольные» – одуревшие, «лежавый» – полицейский или милиционер. – Б. Ш.

Одна затихает
Другая начинает,
А третья рана на боке...
– Товарищ, миляга,
И я – доходяга,
Зарой мое тело на бану!
Пусть помнят малахольные
Легавые довольные
Геройскую погибшую шпану!

Не напоминает ли текст этой песни «Двух гренадеров», отраженных в кривом зеркале романтики уголовного мира?

На свою работу мы смотрели, как на фиксацию живого фольклорного материала для будущего исследователя. Издательство УСЛОН, о котором я рассказываю в дальнейшем, выпустило эту книжку страниц в сто тиражом в 2000 экз., и она попала в магазины ОГПУ на Соловках, в Кеми, на другие командировки, даже в Москву. Тут получился неожиданный, но характерный для того времени анекдот: издание было очень быстро раскуплено. Материалы по фольклору разбирались как *песенник*, сборник модных в то время (да и теперь в СССР) романсов...

Позже советское кино построило на том же материале имевший большой успех фильм «Путевка в жизнь».

Но двенадцать обязательных экземпляров, рассылавшихся издательством УСЛОН по закону в главные книгохранилища Союза, несомненно, дошли по назначению и наш труд даром не пропал.

Глава 10

Под охрану дьявола

Яшке Цыгану досталась в тот день легкая работенка. Пофартило. В лес не погнажи. Грузин-нарядчик, пробежав глазами по неровной шеренге, поманил сначала пальцем сотрясавшегося в припадке кашля Мерцалова, а потом остановил свой начальнический взгляд на «колесах»¹³ Цыгана.

Эта принадлежность его туалета действительно заслуживала внимания. В очень далеком прошлом ботинки Цыгана, несомненно, служили какому-нибудь лихому форварду, о чем свидетельствовала сохранившаяся на одном из них предохранительная резиновая накладка, но в настоящее время подошва одного полностью отсутствовала, а у другого не хватало верхней части носка. Эти технические неполадки, видимо, не смущали теперешнего владельца ботинок, а, наоборот, будировали его творческую мысль. Подошву заменяла доска, вроде короткой лыжи, тщательно, даже элегантно прикрученная сложной системой обрывков электропровода, а из недостающего носка торчало подобие гигантской груши, набитой бумагой.

Сам Цыган не только не жаловался на дефекты своей обуви, но явно гордился своим творческим достижением, лихо прищелкивая лыжей о плиты пола. Он был вообще оптимистом.

Это-то, вероятно, и вызвало сочувствие строгого администратора и, хотя многие были обуты еще хуже, он крикнул:

– Эй, ты, франт кривой! Топай сюда!

Сдав партию лесорубов конвою, грузин повел Цыгана и Мерцалова в подвал под бывшей монашеской кухней и указал:

– Очищай помещение! Доски и что подходящее сюда складывать, а мусор туда валить. Блатная работа.

Он был прав. На дворе стоял трескучий мороз, а в подвале было тихо и тепло.

От Мерцалова было мало толка. Сухой, удушливый кашель карежил его хилое тело, как огонь костра сухую бересту.

– Ты, доходяга, хоть доски-то из угла отваливай помалу, – покрикивал на него Цыган, – тяни на себя! Стой! Это что за хреновина?

Под досками, в гряде обломков тускло поблескивало что-то непонятное. Вытащили, осмотрели. Вроде фонаря с разноцветными стеклами, укрепленного на большом металлическом держаке. Да и сам фонарь из металла...

– Может «рыжий»?¹⁴ Монахи богато жили... Цыган поколупал пальцем дверцу фонаря.

– Не! Не «рыжий»! Видишь, ржавь зеленая въелась. Однако, работа тонкая, узорная. Клади в сторонку, там разберем.

При дальнейших раскопках нашли другой, парный к первому. Потом вытащили что-то вроде знамен с изорванными ветхими полотнищами, а на полотнищах – образа.

Цыган всесторонне обдумал положение. Затырить¹⁵, конечно, возможно. Но какой от того «фарт»? Какому чорту эти фонари нужны? Выгоднее доложить по начальству: может, и наградят?

А начальство, в лице Барина, уже само входило в подвал.

– Клад нашли, гражданин начальник, – разлетелся к нему Цыган, – вот посмотрите, какие финемоны... – Цыган любил умные слова.

¹³ Колеса (жарг.) – обувь.

¹⁴ «Рыжий» – золотой.

¹⁵ Затырить (жарг.) – спрятать.

– Барاخло... Принадлежности культа, – ткнул ногою хоругви Баринов, – ты, однако, посматривай. Может, и что путное попадется. Все возможно.

– Путному-то мы и без тебя место найдем, – подумал Цыган. – Будьте благонадежны, гражданин Баринов, не упустим, – добавил он вслух, – а вы прикажите меня к этой работе прикрепить. Уж я!..

– Ладно! Ты и отвечать будешь. Как фамилия?

Стоя в очереди за тресковым борщом, Цыган патетически ораторствовал о своей находке, давшей ему в результате легкую работу в тепле. Среди слушателей был доцент П-й, историк, уже выпустивший тогда одну интересную работу с предисловием академика Платонова. Наскоро проглотив свою баланду, он побежал в подвал, торопясь побывать там за время перерыва, а вечером в «Индийской гробнице» состоялся военно-операционный совет избранных.

– Светильники очень тонкой художественной, вероятно, итальянской работы. Вместо стекол – толстая цветная разрисованная слюда. Историческая ценность их несомненна. Очень интересны и хоругви. Вероятно, XVII век. Дело в том, что подобные находки, безусловно, будут повторяться. Ведь расхищены, главным образом, только золото и серебро. Надо добиться сбора и охраны этих ценностей, создать нечто вроде музея, – говорил П-й.

– Хватил! Это на Соловках-то музей!

– Да еще религиозный! Невозможно!

В углу сидел Б. Емельянов, поэт-фокстротист, молчаливый, долговязый и довольно нескладный парень. Остротой ума он не отличался и поэтому часто служил мишенью для очередного розыгрыша, но именно ему принадлежала ответная реплика:

– Религиозный – невозможно, а антирелигиозный – вполне возможно.

Мы поняли не сразу, а лишь после пояснения:

– Дело не в вывеске, а в спасении ценностей и, поверьте, что под антирелигиозной вывеской они целее будут!

Загорелся по русскому обычаю спор. Нашлись сторонники «чистых риз», возмущенные помещением святынь «под защиту дьявола», но точка зрения здравого смысла восторжествовала.

– Быть или не быть? Спасение «под печатью антихриста» или неминуемая гибель?

– Только вот кого в заведующие подсунуть? Нужно умно выбрать... Из нас никто не годится. Эйхманс никому не поверит.

– Ваську Иванова, – безапелляционно решил Миша Егоров, – самый подходящий человек.

– Безбожника? Расстригу?

– Безбожника?! – огрызнулся Миша. – Это для всех вас он безбожник, а я с ним три месяца в одной келье прожил... Как только свет потушат, Васька под одеялом креститься начинает и молитвы шепчет... В белые ночи все видно! Безбожник! Много вы знаете!..

Васька Иванов был одной из колоритнейших фигур каторги. Я не видел более безобразного по внешности человека: ненормально низкого роста, почти карлик, кривоногий, с безобразно отвисшей нижней губой и огромными, торчащими, как крылья нетопыря, ушами он напоминал одну из страшных химер Нотр Дам. К тому же он обладал неприятнейшим, громким и визгливым фальцетом.

На Соловках Иванов выполнял обязанности антирелигиозного лектора, и, слушая его безграмотные выкрики, шпана резонировала:

– За то Васька Бога обидеть старается, что Бог-то его крепко обидел...

Невежественен он был до предела. Даже пресловутый «учебник» Ем. Ярославского он ухитрился перевернуть так, что Когану делалось стыдно.

– Ты, Васька, ближе к современности держись, – говорил он, – нечего там об Озирисах да Изидрах распространяться...

Свои лекции Иванов начинал всегда одним и тем же красочным анекдотом:

– Наполиен, – визжал он, – взял подзорную трубку и стал смотреть на небо. Где Бог? Нет Бога! Лаплас! – позвал он своего придворного астронома. – Ты тридцать лет смотришь на небо, видел ты Бога?

До ареста Василий Иванов был монахом. В тюрьме снял постриг и письменно отрекся, но все же получил три года и теперь лез из кожи ради сокращения срока.

Вот этого-то субъекта прочил Миша в хранители соловецких святынь, реликвий древностей. И не ошибся в своем замоскворецком трезвом расчете.

С Коганом мы говорили наутро прямо и откровенно, лишь с упором не на религиозную, а на культурную ценность памятников. Он же говорил в верхах, может быть, по-иному, но как бы и чем бы он там ни аргументировал создание Соловецкого антирелигиозного музея, таковой был не только разрешен, но получил целиком в свое распоряжение неразрушенную домовую церковь соловецкого архимандрита и его палаты. Вскоре был утвержден штат постоянных работников музея, и ему было предоставлено право реквизиции всех материалов, признанных исторически ценными. Это было особенно важно: ретивые хозяйственники уже на многое наложили свою руку; например, мастерская музыкальных инструментов забрала себе остатки замечательного пятиярусного иконостаса Преображенского собора для выделки гитар и балалаек из выдержанного веками дерева его икон.

Много другого ценного успели прибрать к рукам хищники и невежды с дипломами высших технических учебных заведений.

Васька оказался незаменимым в сборе расхищенного. Руководило ли им желание выслужиться или что другое, я не берусь судить, но он ругался, визжал, плевался, бегал жаловаться начальству в борьбе за каждый обломок разрушенного и поруганного величия, за каждый клочок древнего великолепия... Он, как Плюшкин, тащил к себе все без разбора, и музейным специалистам, отыскивавшимся в бесконечном разнообразии соловецких профессий, работы хватало.

А специалисты выныривали совсем неожиданно. Среди безнадежных инвалидов нашелся купец-старообрядец Щапов из Нерехты или Кинешмы, глубокий и тонкий знаток русской иконографии. Над клочками и обрывками рукописей корпел доцент П-й; бронзу, резное дерево и вышивки определял и классифицировал известный в Москве комиссионер-антиквар, попавший на Соловки за продажу иностранцам какой-то редкой коллекции фарфора, собранного несколькими поколениями старомосковской барской семьи.

Ценности всех видов лились в музей непрерывным потоком. В мусоре одного из подвалов нашли два окованных медью сундука с хозяйственными записями XVII века. На основе их доцент П-й воссоздал яркую картину экономики Беломорья того времени, почти полностью бывшего вотчиной мощного, культурного и широко прогрессивного в своем хозяйстве монастыря, лозунгом которого были слова:

– В труде спасаемся!

Эта работа была напечатана в журнале «Соловецкие острова», и некоторые проблемы экономической деятельности монастыря были учтены и использованы первым организатором концлагерной принудилочки Н. А. Френкелем при освоении Колы, Сороки, Кемского берега и Печеры.

Монахи, уходившие в Валаам обозом и пешком, не могли взять с собой и сотой доли богатейшей соловецкой ризницы, накапливавшей свои ценности со времен Марфы Посадницы. Грабители из Архангельского совдепа хватали только пригодное для быстрой и легкой реализации. Достаточно было и такого. Пожар коснулся ризницы лишь слегка, и множество облачений из старинной венецианской парчи, пелен, платов, покровов на Плащаницу, выши-

тых теремными затворницами, боярышнями и великими княжнами московскими, сохранились. Они поступили в фонд музея, и часть из них, как я слышал потом, была увезена в Москву и, вероятно, распродана. Запасы нешитой новой фабричной парчи были переданы театру, и из них сшили богатейшие костюмы для постановки «Бориса Годунова» Пушкина, который шел на Соловках в двадцати двух картинах, всего лишь на две меньше, чем в Художественном театре. Потом в них играли «Царя Феодора Иоанновича», «Девичий переполох» и «Василису Мелентьеву».

Найденные Цыганом светильники оказались флорентийской работы, они были подарены монастырю папой Иннокентием (каким по счету – не помню). Схожие с ними литые факелы – подарком Венецианского Дожа.

Монастырскую библиотеку разыскать не удалось. Установили, что рундук с грамотами новгородских посадников, московских царей и, вероятно, с другими важнейшими документами архимандрит увез с собой, а остальные рукописи и книги были зарыты или замурованы, но где – на острове знал это лишь один из оставшихся иноков – отец Иринарх. Да и знал ли? Как ни пытались выведать тайны от этого простоватого с виду, словно топором высеченного, инока – не выдал! Эйхманс, сам увлекшийся кладоискательством, поил его до умопомрачения и даже на самолете катал.

Любил выпить отец Иринарх, но, и выпив сверх меры, молчал.

Теперь он, вероятно, умер или удален с острова, и навек погибли для потомства ценнейшие уники. Судя по найденным обрывкам описи (печатное ее издание, выпущенное, кажется, Казанской духовной академией, было, как видно, далеко не полным), на Соловках хранились уникальные старообрядческие рукописи, часть которых была полемикой склонных к древнему благочестию соловецких старцев с новаторами никонианами. Хранились они, конечно, под спудом и, вероятно, потому не вошли в напечатанный каталог. Но в ризнице отыскался рукописный Апостол, по преданию переписанный царевной Софьей. Он был переслан в Москву для точного определения. Я помню его изумительные заставки и узоры титульных букв. Кто выводил их золотом, лазурью и киноварью? Неужели сестра, достойная своего великого брата, была и талантливой художницей?

Наибольшее количество религиозных, художественных и исторических ценностей было, вероятно, скрыто в перешедшей под охрану музея монастырской «рухольной».

Эта «рухольная» представляла собою большой сухой подвал, почти доверху заполненный складывавшимися туда в течение веков иконами. Монахи говорили, что туда убирались образа из церквей и часовен «по древности», т. е. закопченные, потрескавшиеся, с неразличимыми уже начертаниями, но доцент П-й нашел указания и на поступление туда икон, изъятых по постановлениям соборов, вплоть до Стоглавого, по решениям Синода и из закрытых старообрядческих молелен и скитов. Подтверждением тому был часто попадавшийся образ «Крылатого Предтечи», иконописный канон которого был запрещен еще в XVII веке. Сюда же попали, вероятно, и старописные иконы существовавшей при монастыре еще до Никона иконописной мастерской, снятые при «замирении» отколовшегося от московской патриархии и боровшегося с ней около пятнадцати лет монастыря.

Ознакомиться хотя бы поверхностно с богатствами «рухольной» за время пребывания моего на Соловках не удалось. Единственный работник иконографического отдела музея старик Щапов был очень внимательным и точным исследователем. Он не довольствовался внешним осмотром, но проверял и тайны древнего мастерства: состав красок, способ полировки и грунтовки дерева и т. д. Тщательность его работы отнимала много времени, и ему удалось обследовать лишь внешнюю, сравнительно новую часть груды икон в рухольной. Можно предполагать, что главные ценности таились в ее недрах.

Многое можно было бы написать еще о богатствах соловецкого антирелигиозного музея. Что из того, что над ними были вывешены пошлые и глупые надписи? Эти куски

картона сгинут, а спасенные сокровища, Бог даст, останутся и снова, освященные и обновленные, послужат прославлению имени Господнего.

Верю свято и нерушимо, что отступник, богохульник и лжец был тоже орудием в руке Его, атомом непостижимой для нас премудрости, и за спасение, за честь хранения вековых святынь России простятся грехи и грешки, сотворенные расстриженным заблудшим иноком Василием в его нищей земной и, несомненно, страдальческой юдоли.

Глава 11

Птица-гага и крыса-андатра

– У меня на Соловках любой специалист найдется, – говорил Эйхманс, своеобразно гордившийся населением своей сатрапии.

Он был прав. Кого только не было на Соловках того времени! Какие только профессии, знания, а порой и таланты не таились в среде серого, вшивого, сбитого в густое человеческое месиво населения острова. От командующего армией до исключительного по ловкости рук карманника, от дирижера симфонического оркестра до дрессировщика охотничьих собак. Был и такой – польский шляхтич, барзо гоноровый пан, презиравший все другие виды работы.

К чести Эйхманса надо сказать, что до оформления Н. А. Френкелем системы социалистического концлагерного рабства (до 1926–27 годов) он легко предоставлял всем желавшим и умевшим работать возможность развития их инициативы в любой области труда. Даже пан-шляхтич нашел себе применение, став егерем того же Эйхманса и воспитателем охотничьих собак для магнатов ОГПУ. Позже он был переведен для той же работы в одно из огромных охотничьих поместий этого учреждения.

С одной из первых партий 1924 года на остров прибыл учитель зоологии одной из станичных кубанских гимназий казак Некрасов. Ничем особым он не блистал, был рядовым провинциальным учителем, но свой предмет любил и не по-книжному, не схоластически, а живо, страстно, пламенно, тесно связывая теоретическую премудрость с ее основой – жизнью животных.

Случайно он попал на отдаленную от кремля командировку, вернее наблюдательный пост охраны на побережье. В этом глухом углу острова гнезилось много гаг. Некрасов набрал птенцов и приручил их, одомашнил, как он говорил. Статью о своем опыте и о возможных выгодах его промышленного использования он поместил в только что начавшей выходить тогда еженедельной печатной газете «Новые Соловки». Потом дал туда же и другую с очень смелой и, быть может, необоснованной гипотезой о происхождении соловецких «лабиринтов». Эти «лабиринты» нередки на побережье и островах Белого моря. Они представляют собою скопление поставленных на ребро каменных плит, образующих огороженные «закутки». Некрасов предположил, что эти циклопические лабиринты были «скотными дворами», в которых доисторические обитатели севера содержали живых тюленей в тот период, когда их стада откочевывают в просторы морей. Тюлени были главной пищей обитателей Соловков того времени.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.